

Георгий Панкратов

Ночные псы

Роман

— Ну вот, смотрите. В начале 90-х, например, когда повсюду концентрировался ужас, и у всех в головах был этот ужас, в газетах много писали о сатанизме...

— Точно, сатанизм идеально подходил как модель для описания нового мира, который на самом деле состоялся гораздо раньше...

— Может быть, но я в данном случае не об этом. Вот тогда писали, например, что в каком-то дворе в спальном районе сатанисты — неустановленные, разумеется, — поймали котенка и прямо вот посреди дня, на детской площадке, на глазах у прохожих и мамочек с колясками выкололи ему глаза, а лапы — представляешь — какими-то здоровыми щипцами ему обрезали. И оставили там же умирать.

— Кошмар какой!

— И не говорите! Тот случай произвел впечатление на обывателя. Только видите ли, в чем дело. Такого случая никогда не было. Его, как и многое другое, выдумал журналист. Писака, если быть точнее. Не знаю, может, приснилось ему, может, фантазии на большее не хватило. Но самое главное — какие-то отморозки, прочитав текст и вдохновившись им, «подвиг» выдуманных сатанистов повторили. То есть автор текста как бы создал реальность, которой без него никогда бы не было и без которой объективно было бы лучше. Ну, по крайней мере, коту — уж точно.

— «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...»

— Выходит — так. Чем глупее, но при этом страшнее и увлекательнее чушь, тем с большим интересом ее читают. Тем не менее вопрос: а стоило ли ее создавать, пусть даже до большинства адресатов дошел правильный, если здесь уместно так выразиться, послыл? Зато вот этот побочный продукт, которым стала практическая реализация отморозками того, что выдумала большая фантазия автора, — он состоялся. Ответствен ли автор за этот неволь но созданный им продукт?

— Любопытный вы подметили момент, конечно... А смотрите, вот вам еще пример... «Американская история икс», помните, фильм был? Классический антифашистский фильм, его даже пропагандой можно назвать, настолько он правильный... Но качественный. И, надо сказать, изобретательный. Там был

Георгий Панкратов (1984) — родился в Санкт-Петербурге. Печатался в журналах «Знамя», «Урал», «Москва», «Нева», «Сибирские огни» и др. А также в сетевых изданиях «Журнал О'Генри», «Литература», «Text Express». Автор книг «Письма в Квартал Капучино», «Стыд и совесть». Премии: Дмитрия Горчева (2016, финал), «Дебют» (2014, финал), «В поисках правды и справедливости» (2016, II место), им. Тютчева «Мыслящий тростник» (2017, финал). Лауреат премии журнала «Урал» за 2016 год. Проживает в Москве и Севастополе.

момент, когда главный герой, пока он еще не исправился как бы, заставил негра лечь на проезжую часть, открыть рот и зубами вцепиться в бордюр. А затем со всей силы двинул ему ногой в голову и повыбивал все зубы. Ужас! И вдруг спустя несколько лет в некоем российском городе, на другой стороне планеты, можно сказать, какой-то местный псих-скинхед повторил этот жест. Ему наплевать на мораль фильма, сюжет, он, может, его и до конца не досмотрел. Но этот художественный акт, с позволения сказать, запомнил. А не было бы фильма — и не догадался бы тот псих до такого, и человек — уж кто там был — не пострадал бы.

— На самом деле таких случаев полно. Автор, художник, назовем его так, создает не просто текст или художественное произведение, акт, как вы сказали, а именно что новую реальность, и эта реальность не нуждается во всем остальном произведении, да и вообще в самих рамках этого произведения и в нем самом как авторе. Она уже существует сама по себе.

— А кто знает, может, именно она первична? Ведь именно здесь мы имеем дело с настоящим реализмом. Не авторский замысел, не смысл, не мораль, не какое-нибудь там художественное чутье-нытье. Это она — реальность — пробивается через произведение с целью заявить о себе кому-то, не имея возможности пробиться напрямую. Ведь он-то, автор, полагает, что говорит совсем о другом. В итоге вроде бы наполненный совершенно другим смыслом художественный акт становится...

— Да и справедливо ли называть этот акт художественным после того, как он воплощает себя в реальности?

— Именно! Ох уж мне эти сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное! Право бы, запретил им писать...

Увлечшись, собеседники не заметили, как в маленьком кабинете, где происходил этот разговор, появился новый человек — неброско одетая женщина, на вид за сорок (впрочем, этот «на вид», конечно, у каждого разный; мы же говорим о двух мужчинах, расположившихся по разные стороны стола, завалянного всякими бумагами). Она хозяйничала на «кухне» — маленьком столе в углу помещения, специально отведенном для чая, кофе, а также бутербродов, печенья, салатиков и прочих нехитрых закусок. Женщина налила вскипевшую воду в маленькую чашку, затем потянулась за сахаром. Красное табло старых электронных часов высвечивало блеклые цифры 9 и 15 — без каких-либо знаков между ними.

— Опаздываем, — сокрушенно произнес, не называя женщину по имени, но очевидно обращаясь к ней, один из собеседников.

— Я гляжу, ни на что важное не опоздала, — устало ответила та. — А вам я вот что скажу. С нашей жизнью только и рассуждать, что о художественных актах.

— С какой такой нашей жизнью? — изобразил удивление мужской голос.

— С нашей собачьей жизнью.

— Хм... Ну это, конечно, возможно, — ответил голос, не меняя эмоций. — Если копать уж слишком глубоко. Но все же на вашем месте я бы поторопился с чаепитием. Вас вызывают в Самый главный кабинет.

— Как так? — растерянно переспросила женщина.

— Просили передать, — мужской голос произнес это как-то виновато, словно давая понять, что он не является инициатором вызова и вообще никакого отношения к нему не имеет. — Надеюсь, ничего особенного, какое-нибудь дежурное обсуждение.

Женщина обтерла руки какой-то тряпкой, нервно схваченной со стола, и с досады швырнула ее в мусорную корзину. Толкнула дверь и вышла в большой коридор. Спешно поправляя одежду, застучала каблуками, ускоряя шаг. Слева и справа мелькали однотипные двери, таблички с разными буквами, сливавшимися в чьи-то фамилии и должности, навстречу шли люди — кто-то из них кивал понимающе, завидев женщину, кто-то, напротив, отводил глаза, а кто-то делал вид, что ничего не знает, а может, действительно ничего не знал. Последних она

приветствовала особенно тепло. Встречались и вообще незнакомые люди — они сидели перед кабинетами на редких стульчиках или нервно ходили взад-вперед возле очередной двери — кто-то громко ругался. Кто-то копался в телефоне, жизнь шла своим чередом, не зная о тревоге, поселенной в сердце неброско одетой женщины случайным сообщением коллеги и усиливавшейся с каждым шагом, с каждым пройденным кабинетом, с каждым встретившимся лицом. У одного из кабинетов она чуть замедлила шаг и даже повернула голову, посмотрев на дверь невидящим, как говорят в таких случаях, машинальным взглядом.

— Балабол, — беззлобно произнесла она.

Еще через пару дверей, в самом конце коридора, находился Самый главный кабинет. Женщина постучалась, затем, словно что-то вспомнив, нервно усмехнулась, открыла дверь и вошла внутрь. В приемной сидела молоденькая девушка, которая тут же вскочила со своего рабочего места и затараторила:

— Ах, не переодевайтесь — не надо, ради бога, — хотя женщина и не планировала переодеваться. — Проходите так, поторопитесь, вас очень ждут.

Женщина ответила кивком, обошла рабочий стол сотрудницы и подошла к еще одной двери, расположенной как раз за ним.

— Проходите же, пожалуйста, сегодня вызовов очень много, — тихо сказала девушка.

Отворив дверь, женщина вошла в просторное помещение с голыми стенами, выкрашенными в светло-синий цвет. Приоткрытые створки жалюзи впускали в комнату минимум света, необходимый лишь для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве. Впрочем, рассматривать здесь было нечего, да и приходили сюда не за этим. Возле окна стоял стул, а к противоположной стене крепился экран, похожий на телевизор последней модели, если бы не одна деталь: экран был скрыт створками, как в объективах старых фотоаппаратов. Женщина уже бывала здесь и знала, что створки никогда не раскрываются полностью — лишь приоткрываются, являя взору сидящего на стуле сотрудника круг размером с обычную человеческую голову. Спустя какое-то время на экране появляется сам собеседник, называемый так, впрочем, для удобства. Разговора с этим собеседником неброско одетая женщина хотела бы избежать, но, когда в Самый главный кабинет вызывают, чьи бы то ни было желания не учитываются — и это она также отчетливо понимала.

Женщина расположилась на стуле. Слово «расположилась» здесь тоже могло быть употреблено для удобства, но никакого удобства не было: намеренно ли, случайно или, может, из экономии, стул для посетителей был самым маленьким из всех возможных стульев (по крайней мере, так о нем отзывались сами посетители) и самым жестким, а если говорить о спинке... да что о ней говорить, когда ее не было! Сомкнув ноги и сложив руки на коленях, как школьница в первом ряду актового зала, женщина на секунду прикрыла глаза и хотела было представить себя на море — это всегда помогало ей в стрессовых ситуациях, но створки раскрылись, и, вздрогнув, она увидела большой глаз — точнее, его изображение на круглом экране. Глаз был нарисованным, или, точнее, созданным в компьютерной программе, но не уступал по реалистичности настоящему, только увеличенному до размеров человеческой головы. Он мог вращаться в разные стороны, сужать и расширять зрачок и даже закатываться, выражая неудовольствие. А что-то другое, по опыту общения с ним сидящей напротив женщины, глаз выражал редко.

Некоторое время они неподвижно смотрели друг на друга, видимо, привыкая.

— Здравствуйте, Бездушная машина, — женщина решила заговорить первой.

— Здравствуйте, — произнес голос со стороны экрана.

Женщина всякий раз удивлялась, что голос не был механическим, ведь это, по ее представлениям, более соответствовало бы рисованному глазу да и ситуации вообще. Но глаз разговаривал приятным мужским голосом, как будто бы из рекламы солидных часов, располагающим и в чем-то чарующим, но при этом не терпящим совершенно никаких возражений.

— Поздравляю вас с наступающим Новым годом! — продолжил голос с экрана.

К тому, что ее не называют по имени, женщина уже привыкла. Вероятно, это должно было укреплять в ней мысль, что она только винтик в системе, вполне заменяемый. Но ее всякий раз это нервировало. Впрочем, по словам коллег (большей частью бывших), машина никого не называла по имени.

— Супер! — коротко ответила женщина. — Поздравляю и вас.

В постоянной суете она и запамятовала, что совсем скоро — Новый год. Нет, она, конечно, помнила, что праздник будет, но ощущения этого самого праздника не было.

— Желаю вам всего самого наилучшего, — продолжала диалог машина.

— Спасибо, — повторила женщина. — И вам.

— Как ваши дела? — голос хмыкнул. — В целом?

— В целом неплохо, спасибо. Работаю.

— Это хорошо, — вяло отреагировала машина. — Это хорошо.

— Есть, конечно, определенные неровности, шероховатости, так сказать, — женщина все порывалась начать перечисление проблем, с которыми ей в последнее время приходилось сталкиваться с утра до вечера, с подробным изложением своих версий того, «кто виноват» и «что делать», но все-таки удерживалась: опыт подсказывал, что все эти «доверительные разговоры» бесполезны, особенно в этом помещении. — Но работаем над этим, устраняем, — она таки удержалась.

— Все правильно, шероховатости и неровности в нашей работе ни к чему, — ответила машина. — Даже так: в нашей работе они особенно ни к чему.

«А к чему вообще этот разговор?» — подумала женщина, но осеклась: в этом кабинете лучше было не думать. У нее еще будет на это время.

— Вы, наверное, понимаете, что вас вызвали не просто так, — снова начал голос.

— Ну, разумеется, — ответила женщина. — Есть ценные указания?

— Указания, конечно, есть... — задумчиво произнес голос. — Но сейчас, к сожалению, придется поговорить не о них.

Женщина вздрогнула.

— Вы же, наверное, знаете, что в нашей отрасли грядут сокращения. Точнее, они уже произошли... первая волна. Но грядут новые. Насколько мне известно, будет несколько этапов сокращений.

«Насколько им известно», — передразнила мысленно женщина. До нее постепенно доходил смысл сказанного, и откуда-то снизу спины по всему телу растекался мерзкий холод.

— Это не чья-то личная инициатива, — продолжал голос, — а необходимость, вызванная, скажем так, интересами отрасли. Мы же сейчас испытываем, насколько вы знаете, некоторый кризис.

— Слышали, знаем, — сказала женщина. — Я правильно догадываюсь, что эта волна сокращений накроет меня с головой? Смоет вообще. Так?

— Ну, это если выразиться поэтично, — без иронии в голосе ответила машина. — А если официально: мы благодарим вас за работу и признаем в вас грамотного и квалифицированного сотрудника, однако на данный момент не можем предложить вам дальнейшее сотрудничество.

Женщина опустила голову и сидела так некоторое время, глядя на собственные руки.

— Когда? — наконец выдохнула она.

— Мне бы хотелось, чтобы вы отработали новогодние праздники, — с некоторым облегчением произнес голос, — и потом уже...

— Понятно, — оборвала женщина. — Те, кого вы здесь оставляете, ведь в праздники работать не захотят.

— Знаете, зависть — не лучшее качество, — ответила машина.

— Что вы, кому завидовать! — усмехнулась женщина. — Я могу идти?

— Пожалуй, да. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками.

— До свидания, Бездушная машина, — ответила женщина, поднимаясь со стула. Створки резко схлопнулись, и комната погрузилась в привычный мрак. Женщина открыла дверь и, торопливо проскочив мимо сотрудницы в приемной, отправилась прочь по длинному коридору.

— Ну хоть чай допью теперь, — растерянно сказала она самой себе.

Человек, сообщивший ей о вызове, все так же сидел за столом, но уже без собеседника и листал мелко исписанные бумаги. Он поднял на женщину вопрошительный взгляд.

— Вот нашла бы я автора, который написал про этот художественный акт...

— Какой художественный акт? — изумился мужчина.

— Про мой сегодняшний день, — сказала она отчаянно. — Руки бы оторвала.

27 декабря

Вполне возможно, что большинство людей, долго стоящих на остановке в ожидании транспорта, предпочитают не тратить это время зря и усиленно думают. Кто-то о новом проекте для работы, кто-то о том, как привести в порядок личную жизнь, кто-то о том, как прожить до следующей зарплаты, и все они вместе — конечно, о том, где, как и с кем планируют отмечать приближающийся Новый год. От этого их взгляды производят впечатление осмысленных. Но длинный мужчина в толстых, вопиюще старомодных (а скорее вообще не принадлежащих к категории моды) очках и шапке с большими ушами, прислонившийся к холодной стенке остановочного павильона, этого не знал, потому что не умел читать чужие мысли. Да и людей вокруг было мало: они ходили взад-вперед по остановке, а затем не выдерживали и шли куда-то пешком, скрываясь за плотной стеной снега, который обрушился на город. Собственных мыслей у длинного человека не было. Уставив неподвижный взгляд куда-то вдаль, вроде как высматривая транспорт, он привычно отключался, не думая ни о чем. Такси проплывали мимо, подмигивая ему фарами и зелеными глазками, отчего вспоминалась пошлая песня: «О-о, о-о» — вспоминалась помимо воли, потому что эту ассоциацию однажды вложили в сознание, как условный рефлекс собаки Павлова, и эта ассоциация просыпалась в голове всякий раз раньше, чем просыпалась сама голова.

«Условный рефлекс собаки Павлова», — согревая руки дыханием, пробормотал длинный человек.

Мужчине было около сорока пяти — на вид опять же, потому что точной информации у меня нет. На такси он, конечно, не ездил, потому что зарплата не позволяла. А может, и позволяла, потому что жил он очень экономно, но по привычке думал, что не позволяла. Такси когда-то стоили бешеных денег в этом городе, но только в нем давно навели порядок, ввели единый тариф и лишают лицензии за несоблюдение, так что попробуй не соблюди. Но длинный человек в очках и шапке с ушами не знал и этого, потому что за новостями не следил: его работа была связана с прошлым, а увлечение — с вымышленным. Он проводил дни в архиве, где был рядовым служащим, катавшим тележки и копавшимся в карточках, а вечера и выходные — за чтением литературных журналов. Занятие странное по нынешним временам, но по нынешним временам само то, что такой человек жил на свете, немножечко странновато. Человека звали Матвей Иванович, он был скромн и немногословен. Всю свою жизнь он прожил в этом городе — как он называл его, Городе, где есть метро. Вот только на метро добираться домой было неудобно, и он упорно стоял на остановке, всматриваясь в снег.

В общем, вовсе не деньги были причиной того, что он пропускал такси, а, как вы поняли, совсем другое. Ведь на такси ездят, когда куда-то торопятся, а он никуда и никогда не торопился. Ему не к кому было спешить: Матвей Иванович жил один.

Покачиваясь, из снежной завесы выкатился троллейбус — одной из самых старых моделей, «холодный» — безошибочно и разочарованно определил его

длинный человек. Водитель остановился и раздумывал, открывать ли двери, настолько нерешительным выглядел человек в шапке с ушами: поднявшийся ветер смешно трепал их, очки почему-то перекошились, но человек и не думал их поправлять. Конечно, решительность — совершенно не то качество, без которого не зайдешь в троллейбус, все было проще: Матвей Иванович просто не сразу сообразил, что троллейбус уже стоит на остановке, — такое случилось с ним и раньше. Для человека, чья квартира забита всеми возможными литературными журналами, выходившими в разные годы и в разных городах, — и ведь прочитанными, что самое сумасшедшее! — это было в порядке вещей.

— Молодой человек! Молодой человек! — чей-то голос заставил его вынырнуть из мысленного небытия и обнаружить открытую дверь троллейбуса.

— Пожалуйста, помогите мне, будьте вы так добры, подняться в этот троллейбус, — голос обращался явно к нему, и мужчина наконец обратил внимание на низенькую запыхавшуюся старушку с дряхлой сумочкой в руках.

«Молодой, — криво ухмыльнулся он, но тут же изобразил что-то приветственное на лице: — Да, да, конечно». Кряхтя и охая, старушка облокотилась на сильную — как ей хотелось думать — руку Матвея Ивановича, тот ступал осторожно по ступенькам и с тревогой поглядывал на старушку: помогать кому-то он не любил. И вовсе не потому, что был черств душой или озлоблен, — нет, просто любое участие в чем-то общественном, контакты со случайными людьми вызывали в нем тревогу. Он и хотел помочь искренне, но не знал, как это правильно делается: за что ухватить коляску, чтобы помочь молодой маме, как правильно взять под руку ту же старушку? Так и представлял, как рассерженные пассажиры выкинут его из салона, да еще с криками: «Ты, мол, придурок, что ли?» И как будет смотреть недоуменно и зло человек, нуждавшийся в помощи. И до тех пор, пока он опять не вернется в комфортное небытие (что неизменно случится через пару минут), Матвей Иванович испытает много дискомфортных ощущений — угрызений ли совести, стыда оттого, что показался людям глупым и нерасторопным, — да какая разница, как это называть? В обществе почему-то ценилась активность, хотя и было совершенно непонятно почему, с какой стати.

Но в салоне троллейбуса никого не было, и Матвей Иванович, приободрившись, проводил старушку до ближайшего сиденья, на соседнее поставил ее старую сумку. Только сейчас он смог рассмотреть: глаза старушки были заплаканы.

— Что ж это с вами?

— Со мной? — старушка удивилась. — Со мной все в порядке. А вы-то вот что такой кислый?

Подобный вопрос Матвею Ивановичу иногда задавали — когда приходилось общаться с теми, кто его плохо знал. Всякий раз, или изображая удивление, или просто терпеливо и спокойно, ему приходилось объяснять, что он, мол, «вполне обычный», он-де «всегда такой». Разговоры эти раздражали: ну почему нельзя принимать человека таким, какой он есть, тем более что в обществе, если верить телевизору, быть собой — чуть ли не главная ценность. А он, Матвей Иванович, оставался собой всегда, ну так что же? Да и не кислый он был, а действительно... обыкновенный. Обыкновенный человек. Но спорить с заплаканной старушкой ему вовсе не хотелось, и он сказал:

— Да я-то ладно. А вот вам нельзя... — он подбирал слова. — Нельзя расстраиваться.

— Да это почему же? — взвилась старушка — Мне уже все можно, это вот... Вы молодой, вам нельзя быть кислым. Так и жизнь пройдет, и не заметите!

— Да прошла уже, — Матвей Иванович махнул рукой. — И ничего. Я много прочитал, — почему-то сказал он.

— Эх, прочитал он! — воскликнула старушка. — Чего читали-то?

— Журналы, — сказал Матвей Иванович.

— Ой, журналы! Небось с картинками-то? С бабами голыми? — старушка игриво ткнула его пальцем в бок, отчего ему стало не по себе, и он присел на соседнее сиденье. Разговор со старушкой начинал ему надоедать.

— Толстые журналы. Тол-сты-е, — уточнил Матвей Иванович.

— Ну конечно, толстые. Картинок-то небось больше, — не унималась бабушка. — Оттого и очки-то во-он какие огромные... толще небось, чем журналы! Поправили бы, кстати, болтаются, как... — Тут старушка и вовсе сказала такое, отчего у Матвея Ивановича чуть не свернулись уши.

— Послушайте, — поморщился он, но очки действительно поправил. — Ну послушайте же. Вы попросили помочь, вы явно плакали, у вас что-то случилось. Какое имеет значение, что я читаю?

— Троллейбус следует в парк! — раздался оглушающий голос водителя, и старушка тут же всплеснула руками:

— Ой, как хорошо-то, как здорово!

Улыбнулся и Матвей Иванович: дело в том, что ни один троллейбусный маршрут не доходил до его дома. Остановка была на соседней улице, и ему приходилось идти через несколько перекрестков домой. Но зато на его улице находился троллейбусный парк, и, если редкий троллейбус отправлялся туда, Матвей Иванович каждый раз просил водителя подбросить и выходил практически у дома.

— Как все хорошо-то, как по-новогоднему, — радовалась старушка.

— Ну вот, — машинально сказал Матвей Иванович, — вместе, значит, выйдем.

— Поможешь мне, чай?

— Непременно, — отозвался Матвей Иванович.

— А что плакала, так это... Выгнали с работы меня. Представляете, перед самым Новым годом! — она потерла руками глаза, хотя слезы уже давно высохли, но снова начала нервничать. «Только бы снова не расплакалась», — подумал Матвей Иванович. — Кошмар какой, что делается. Разве можно, думаю, с людьми так. Праздники, радость, веселье... Да и вообще... Жить-то теперь как... Вот тебе и «с новым счастьем»!

— А кем вы работали-то?

— Этим... прохрому... промау... Про-мо-у-те-ром, короче. До сих пор не понимаю, че это значит.

Матвей Иванович, конечно, знал, кто такие промоутеры, и, конечно, не любил их. Но и жалел: по его представлениям, хуже работы с людьми вообще ничего не могло быть, а еще и платят копейки. «Самая несправедливая работа на свете», — думал он о промоутерах всякий раз, когда встречал их.

— Вы что же, эт... листовки раздавали?

— Да нет, ходила с такой... Короче, повесишь табличку на шею, как в лагере немецком, и ходишь как дура. Ну, если чего спросят, скажешь. Но никто ничего не спрашивал.

— И чего ж уволили?

— Не знаю, — с грустью сказала старушка. — Уволили, и все тут. Захожу, а там девочки сидят, такие нарядные, крашенные, молоденькие все — ну, офис наш. Увольняйтесь, говорят, и смеются, между делом, обсуждают, кто и с кем куда пойдет. На Новый год, значит. Кто каких подарков ждет. Ну а мне, старой, один, значит, подарок. Я и говорю им: девоньки, миленькие, да какой же увольняться — Новый год! А жить как? Разве я плохо работала? Нет, говорят, работала ты отлично, да только больше не надо. То есть как, говорю, было надо, а стало не надо? Ага, говорят. Нерентабельность. Денег ты, мол, не приносишь, а только жрешь. И решил начальник перед Новым годом, что надо бы на чем-то сэкономить. Ну вот, — подытожила старушка, — и сэкономили на мне...

Троллейбус свернул на тихую улицу со знакомыми домами, окошками, дорожными указателями. Матвей Иванович невольно улыбнулся: скоро будет дома.

— Ну а чем же вы там... торговали-то? — спросил он ради приличия.

— Еду для собак продавали... Да уж, — она вздохнула... — А сами поступили как собаки.

— Это точно, — поддержал Матвей Иванович. — Как псы, я бы сказал. Сейчас ведь все как дикие псы: последний кусок урвут. Лишь бы самим набить

брюхо, — он сам удивился собственным словам. Но тут же подумал: «Сказать же что-то надо». Да и, наверное, так все и есть, успокоил сам себя напоследок. Правда, старушка не заметила его сомнений: за годы работы в архиве и чтения толстых журналов Матвей Иванович волей-неволей приобрел лицо, на котором не отражалось никаких эмоций, мыслей, — такое, всегда спокойное и всегда одинаковое — может, это и не лицо он приобрел, а состояние души такое: нечему на лице отражаться.

— Псы... — повторила бабушка. — А у меня, глядишь, тоже есть пес. Только он добрый. Кормить-то его тоже надо... Эх, — вздохнула она и принялась вставать.

Троллейбус проехал перекресток и остановился. Матвей Иванович взял сумку старушки и помог ей спуститься. Дверь закрылась, но троллейбус не торопился уезжать. Только погас свет в салоне. Все вокруг завалило снегом, и хлопья, плотные, огромные, но отчего-то приятные, сыпались с неба, как овсянка из картонной коробки — в тарелку с молоком, какой, может быть, в тихий этот час и представлялась земля, в особенности их крохотный участок из нескольких улиц, откуда-нибудь сверху. Он поднял глаза, но очки тут же залепило, пришлось снять и срочно протирать, чтобы хоть что-то увидеть: без очков Матвей Иванович был совсем слеп.

— Вот так, не нужны, говорят, больше, — причитала старушка где-то рядом и в то же время бесконечно далеко, за сотни тысяч снежных миров от него, архивиста Матвея Ивановича, читателя толстых журналов. Они жили здесь, рядом, и никогда не видели друг друга. Поздний троллейбус свел их вместе, потому что ничего, кроме позднего троллейбуса, их свести не могло.

— Да, — растерянно сказал Матвей Иванович на прощанье. — Странно Новый год начинается. Все всем не нужны.

Ускоряя шаг по направлению к дому, он вспомнил, что и сам-то давно никому не нужен. От этого не стало тяжелее, от этого вообще ничего не стало.

Ночью за окном метель, метель,
Белый беспокойный снег.
Ты живешь за тридевять земель,
Ты не вспоминаешь обо мне, —

раздался приглушенный мягкий звук из теплого окна на первом этаже. Решетки на окнах надежно защищали уют квартиры, защищали и саму песню, само ее право на звучание у каких-нибудь добрых и наверняка симпатичных людей. Защищали и от него, Матвея Ивановича. Песня звучала там, по их сторону решетки, а по его — хрустел снег под ногами, искрился в свете ночных фонарей.

Ничего не изменилось. Просто шел человек по вечерней улице, что-то подумал, натянул уши смешной своей шапки, чтобы стало теплее, повернул за угол дома и растворился, исчез. Так исчезаем все мы, только об этом не знаем, потому что не смотрим на себя со стороны.

А вот в квартире своей — на последнем этаже скромной панельной пятиэтажки — Матвей Иванович, наоборот, появился. Квартира была однокомнатной, но довольно просторной — сложно сказать, сколько астрономических лет пришлось бы работать Матвею Ивановичу в архиве, чтобы заработать на эту квартиру, сколько жизней прожить, — со счету собьешься. Но Матвею Ивановичу повезло, что у него были родители и относительно недавно, а для истории так вообще все равно что вчера, был Советский Союз. Совмещение этих фактов и благодарил Матвей Иванович в мыслях всякий раз, когда случайно узнавал о ценах на жилье. Суммы забывались сразу же, потому что не казались ему реальными, он не оперировал этими суммами в реальной жизни, как не оперировал суммами, за которые приобретаются острова. А потому цена квартирки и сто-

имость острова где-нибудь в Тихом океане были для него величинами одинаковыми. «Равноудаленными», — говорил он сам. Проще было с машиной: ее тоже не было, но Матвей Иванович знал, что купить ее можно — если вдруг потребуется. Накопить, взять в кредит — но можно. Эта мысль грела душу, хотя и слабее, чем какой-нибудь журнал «Октябрь», получая который, он весь светился от радости — внутренним, тихим светом.

Лампа в прихожей, которую включил, зайдя в квартиру, озябший Матвей Иванович, светила ярче — но это был свет, чтобы выжить, а там, в журналах, был свет, чтобы жить. Он поводил носом, наслаждаясь приятным запахом озона, — простые радости были доступны Матвею Ивановичу, и тем они были радостнее, чем меньше рядом находилось людей. Настоящее и единственное наслаждение он испытывал только здесь, дома, заперев дверь.

Матвей Иванович не был чужд обыкновенным представлениям о том, что должно быть у человека, чтобы чувствовать себя счастливым. Ценности общества были просты и понятны, в отличие от ценностей, которые искали неведомые ему авторы тех же журналов. Там счастье если и появилось ненадолго, то все равно лишь затем, чтобы ускользнуть от человека. И даже если схватил его за хвост — оно в последний момент обязательно выпорхнет, как птица, или выскользнет, как ящерица, чтобы потом явиться человеку вновь еще в тысячах других обликов, и можно всю жизнь потратить даже не на поиск такого счастья, а просто на понимание того, какое оно вообще, — да так ничего и не понять. А тут все просто: хорошая квартира, хорошая машина, хорошая одежда, хорошая еда. Ценности если не всегда достижимые, так хотя бы понятные. И противопоставлять себя им, как многие в тех журналах, бьющие себя в грудь, кричащие что-то ему со страниц, Матвей Иванович был не дурак. Да и вообще: зачем кричать? Ведь страницы все одинаковые, кричи — не кричи. И, признаться, журналы-то ему нравились всё больше из-за самих страниц, а не из-за криков: приятно подержать в руках, полистать, во что-то вдуматься, от чего-то откритестись, но главное-то, главное — забыться. И отложить, постепенно переходя из журнального забытья в постельное — погружаясь в сон, и пусть себе орут дальше, упершись в тяжелую стену страниц, покрытых черными буквами, и пусть перекрикивают буквы друг друга, все это уже не волновало Матвея Ивановича: он прочитал, он ознакомился. Он забылся. Многие пьют водку, Матвей Иванович не пил вообще. «Не всем дано», — отвечал он на редкие предложения.

Так отвечал он и себе, когда в вынужденных промежутках между одним забытьем и другим — в перерывах на работе, например, вспоминал, что из этих человеческих ценностей у него есть только квартирка, да и то лишь потому, что родителям не понравилось жить в Городе, где есть метро, — и они уехали туда, где нет ничего. Временами его звали в гости, но зачем ехать туда, где ничего нет? Потом перестали. Они и выписывали когда-то давно журналы — которых было меньше, чем сейчас, но те, старые, были основательнее, читали их важно и даже обсуждали за столом. Правда, родители относились к журналам без должного трепета: выписывали все — по крайней мере, в их кругу, — ну что же, и они выписывали. Могли пропустить целый номер, отправить в мусоропровод непрочитанным. А он, ребенок, ходил вокруг журналов, часами листал их и мечтал... мечтал, что когда-нибудь попадет в них, когда-нибудь и его фамилия... жизнь... мысли... это было невероятно, от этого захватывало дух. Нет, ему было мало стать автором — он хотел переселиться туда, в журнал, жить там. Он хватал родителей за руки, когда те несли журналы на помойку, и громко кричал:

— Нельзя, нельзя!

Это потом он узнал о квартирах, машинах, хорошей еде. Тогда же, когда узнал о женщине, — и, видимо, от нее. Сейчас, в своем нынешнем возрасте, Матвей Иванович уже ничего не кричал. Он старался жить тихо: ведь чтение журналов любит тишину. Он не считал себя неудачником, не считал себя обделенным — но просто однажды признал, что у него чего-то, конечно, не будет. Ну и ничего страшного, жить можно. Жить можно — нет, скорее, жить нужно. Жить — это такая обязанность, считал Матвей Иванович и думал про себя, что

с этой обязанностью справляется. Хотя будь его воля, он бы только сидел и читал — не от лени, а от мерцавшего где-то глубоко внутри осознания, что настоящая жизнь есть именно это плавное течение информации по невидимой тонкой нити, соединяющей лежащий на столе журнал (набитый приключениями, любовью, войнами — все это наполнялось смыслом для него и обретало интерес, лишь становясь словами, преобразившись в текст) с его глазами, — нет, непосредственно, через глаза с ним самим. А кто он, что он? — этими вопросами Матвей Иванович задавался, только когда уходил в особое забытие — оно было сильнее журналов, если что-то сильнее вообще могло быть.

Ведь там, в этой шкале, которую он выучил, был еще пятый элемент — для общества очень важный. Хорошая личная жизнь, семья. Сложившаяся, состоявшаяся. Матвей Иванович долго смотрел в окно, грея чайник. Рядом стоял электрический, но он любил обычный, неторопливый, на медленном огне.

«Все должно быть медленно, — думал Матвей Иванович, глядя на снежинки за окном. — Медленно и тихо». Так же — медленно и размеренно — работал и его мозг, и ничто, даже экстренная ситуация вроде пожара или потопа, не смогло бы заставить его двигаться быстрее. Ему часто казалось, что мозг покрыт воском или какой-то надежной пленкой, что он герметично запакован и, может быть, ему душно, он еле дышит. Но работает, успокаивался Матвей Иванович. Мыслью — значит существую, — проговаривал он на пустой кухне.

Он прошел в комнату, выдвинул стул, поставил чашку с горячим чаем и открыл ящик письменного стола. Достал тетрадь, вырвал страницы посередине, взял шариковую ручку и закрыл глаза. Нужно было настроиться — ведь предстояло говорить.

Разговоры вообще казались любителю толстых журналов пустым занятием. Жизнь научила (пусть он и не любил это слово, не считая, что жизнь учит) Матвея Ивановича, что разговоры никогда ни к чему не приводят, они — лишь сотрясение воздуха. Так не проще ли обойтись без них, не вырывать человека всякий раз из собственных мыслей или просто спокойствия. Зная эту особенность, даже начальник его на работе, Виктор, предпочитал беспокоить Матвея Ивановича только по сверхважным делам, а потому как таких дел в большинстве случаев не находилось, Матвей Иванович мог неделями обходиться молчанием, погруженный в свою медленную и монотонную работу.

Писать Матвей Иванович тоже не любил, считая это тем же разговором: слова давались ему тяжело. Но что-то всякий раз заставляло его проделывать усилия, переламывать, заставлять себя и, усевшись за письменный стол, тянуть руку не к очередному журналу, а к тетрадке. Он подолгу сидел, теребя ручку, над вырванным листом, словно пытался увидеть в нем не линейки с клетками, а новые вселенные, далекие миры или какую-нибудь параллельную реальность. Но реальности там не было, а были только клетки — до тех самых пор, пока Матвей Иванович не выводил старательно первую букву. Такая привычка осталась у него со школьных лет — выводить, вырисовывать первые слова на листе, словно боясь надругаться над его чистотой неаккуратными, грязными буквами. И лишь затем, в процессе письма, забывал об этом, сбивался на корявый, грубый почерк.

Компьютера у него не было, и Интернетом он не пользовался никогда — Матвей Иванович не доверял всему новому. Он даже из журналов предпочитал «Юность» и недолюбливал «Новый мир» — его страшило второе название и успокаивало, обволакивало первое. Была еще «Новая Юность», но ту он вообще не знал, как воспринимать. Вроде и спокойно, но в то же время как-то тревожно.

Вспомнив что-то важное, Матвей Иванович встал из-за стола и подошел к мебелиной стенке. Вообще же вся мебель в квартире была «родом из восьмидесятых», оставшаяся от родителей, о покупке новой хозяин не помышлял — просто в голову не приходило. Открыв стеклянную дверцу, он протянул руку к коробке, снял пыльную крышку и достал несколько карточек — так и стоял несколько минут, перебирая их и вздыхая, — затем взгляд остановился на одной и даже на мгновение потеплел, губы Матвея Ивановича дернулись, словно готовясь разойтись в улыбке. Но тут он словно передумал, погасил случайный

импульс, пущенный мозгом. Матвей Иванович вернулся за стол и повертел карточку в руках, рассматривая изображение. Еловые ветки на синем фоне, на ветках — разных размеров и форм снежинки. Те, что помельче, — простые, как буква Ж, дополненная еще одной, поперечной линией, более крупные уже тщательно отрисованы, узорные, морозные, симметричные, как на замерзшем окне троллейбуса, в котором он ехал сегодня. Они складывались в причудливые комбинации, создавая впечатление искрящегося, кружащегося снега. А на ветках сидели птички с аккуратными черными носами-клювами, глазами-бусинками и круглыми пузиками — красным, оранжевым, желтым. Нарядные, праздничные птицы — скворцы, наверное, думал Матвей Иванович, или снегири — он не отличал их, к своему стыду... нет, к своему безразличию. Только одна-единственная птичка — ласточка — не сидела на елке, а летела над ней куда-то вдаль, ухватив маленьким клювом огромную, больше нее размером, ледяную снежинку. Украшала изображение витиеватая надпись в нижнем углу: «С Новым годом!» Это была простая советская открытка. Повернув ее, Матвей Иванович обнаружил то, что ожидал: пустые строчки для адреса, аккуратный прямоугольник под марку, смешная цена в копейках. Он взял ручку и, крепко зажав ее пальцами, быстро, но аккуратно вывел на чистой поверхности открытки поперек линий: «Тебе». Затем отложил ручку и стал рассматривать результат своего труда, временами с силой жмурясь, как от боли. Убедившись — или мысленно убедив себя — в чем-то, он откинулся на стуле и снова открыл нижний ящик стола, извлек конверт — современный, практически без опознавательных знаков, аккуратно вложил подписанную открытку и отодвинул конверт в сторону, на дальний угол стола.

Теперь ничего не мешало приняться за письмо, или, как считал в этот момент сам Матвей Иванович, за разговор. Впрочем, нет, кое-что все-таки мешало — происходило это всякий раз, когда он брал ручку и чистый лист, но так и не научился справляться с этим мерзким ощущением немедленно, тут же, хотя знал, что все равно преодолет его: перед самым началом письма. Перед первой строчкой наваливалось жуткое ощущение того, что занятие, которому он собрался посвятить ближайшие минуты, — глупое, бессмысленное, а то и просто ненормальное. «Ведь так не должно происходить, — вертелось в голове. — Почему я все это делаю? Почему я живу так?» Это ощущение было почти физическим — Матвею Ивановичу казалось, что его придавит сейчас, словно камнем, и уж после этого — что бы там ни произошло, но он точно не напишет ни строчки, не скажет ни слова. Матвей Иванович понимал, что есть только один способ не оказаться раздавленным, смятым, уничтоженным — немедленно начать писать.

«Сердечная!

Вот наступили новогодние дни, потому пишу. Никак не могу не вспомнить тебя в эти дни. Да и, в общем, я ж тебя и никогда не забываю.

Надеюсь, тебе понравится моя открытка, придется по душе — когда были мы, были только такие, помнишь? Мне нравятся те открытки, там зайчики и белочки протягивают друг другу корзинки, наполненные конфетами, и все улыбаются, и рядом снеговик с таким большим, солидным носом-морковкой и нелепым ведром на голове. Он приглашает в новогоднее путешествие — куда-то кататься, ехать, веселиться, наверное, кидаться снежками друг в друга — смешно, да? Снеговик, и вдруг снежками! — и есть конфеты, и водить хоровод вокруг елки — обязательно живой, в лесу, и наряженной. И ежик тут с большим яблоком на спине, птички разные — вся большая компания. Новый год!

Как люблю их всех! Когда смотрю, сжимает сердце — разве может такое быть сейчас, когда взрывают троллейбусы, режут водителей на перекрестках за то, что не уступил дорогу, бомбят целые города. Потому и нет белок с ежиками, они попрятались все. Все остались там. И я остался там, и мы.

В детстве у меня была большая елка, до небес, с огромной звездой на вершине. Сияла звезда, сияла жизнь. Сейчас даже нет елки — и зачем она мне? В пустом доме будет глупо, если я примусь наряжать. Нет, никакой елки. Потому

что и Нового года-то никакого нет, а как хочется иногда. Бывает, что очень хочется... Особенно так в этот год, раньше привычной было.

Обычно у меня здесь тихо — во дворе и на улице, даже в эти новогодние дни. Настроение портилось немного — надо праздновать, именно что надо, а не с кем. Беда! Так бы и сидел спокойно дома, но когда все празднуют что-то, а ты нет... Настроение портится. Уснуть не мог. В поисках, куда бы себя деть, выходил, шатался по улицам. Хожу и смотрю вокруг, что происходит, кто навстречу идет, что говорят, обсуждают. Прогуливаюсь. Наверное, так будет и в этот раз. Новый год для человека, который живет один, — пытка. Только в эти дни и хочется быть с людьми. Просто раньше, знаешь, было ощущение, что надо праздновать, — но никак; а вот теперь есть ощущение, что и не надо — а хочется. И знаешь, чего хочется? Тех зайчиков, белочек и их корзинок. Это называется «душевное тепло», а может, как-то еще. Люди выдумывают всякие названия тому, чего им не хватает.

Но, конечно, никакого Нового года не может быть без тебя. Да и какие тут белочки — только собаки иногда во дворе ходят — злые, недовольные псы. Жрать им нечего. Они совсем не новогодние. Да и ты знаешь, как я к собакам после того, как с тобой... тогда...

Такая, конечно, проблема... У тебя ведь там, наверное, посерьезнее. Как я могу знать? Но и мне — не очень, не очень легко, скажу тебе. Смутно. И люди вокруг, и с общением плохо, и без — плохо. В остальные-то дни всё немного не так.

В остальные-то дни я знаешь, что думаю? Ах, если бы только на лбу у меня вырос рог! Только представь! Крепкий, прямой, сильный, устремленный к самому небу, к самому солнцу, острее всего на земле острого, да такой, чтоб ни одна мощь мира не способна была сломить его! Да живой, ощущаемый всем моим телом, продолжающий и украшающий его. Неотделимый, как сердце, как ты от меня — неотделима!

Я наклонял бы голову и пропарывал их животы. Или пронзал бы грудь, или стремительно протыкал шею. Я поднимал над землей бы их на этом роге своем, крепком, как стержень мира. Я бы тряс головой неистово, из стороны в сторону и отбрасывал их, недвижимых, на асфальт. Всех этих идущих навстречу. Идущих мимо.

В вагоне метро, в салоне троллейбуса пахнет скорбью. У людей как будто нет глаз. Их губы если и шепчут что — только слова брани, автоматической, не осознаваемой даже как брань. Я слышу брань и от себя — не произношу, а слышу. Такие скорбные русские понедельники.

Вот старушка одна раздает газету. Я вижу ее каждый день. Все подмывает спросить: «Старушка, что ж ты не плачешь?» Ей страшно, я вижу, ей горько и безысходно. Ее затопчут когда-нибудь, выхватывая газеты, руки тянутся к ней: только успевай, успевай отодвинуть новую. А кто видит ее лицо? Я иногда задерживаюсь возле нее и думаю: она ведь писала сочинение «Кем я хочу стать». Что она там писала? Как она чувствует время, жизнь? — иногда я хотел бы понять. И тогда забываю про рог. Мне хочется всех благ для всех хороших людей, если честно. Люди ведь так страдают. И если б наше страдание было хоть как-то оправдано, если б оно было хоть зачем-то!

Или сейчас вот, в троллейбусе, встретил другую старушку — она работала промоутером, представляешь. В свои года! А что пенсионеру делать — пока не упадет, как заведенная машина... Правда, не уверен, знаешь ли ты, что это такое — промоутер. Ведь когда мы расстались, промоутеров не было, были зайчики, были корзины с конфетами. Дебильное, согласишься, слово. Когда я впервые услышал «промоуши», думал, это промывание ушей. Да и по смыслу вроде подходило... Хрен с ним, тебе лучше не знать такого.

Нет, у меня не получается быть злым. Это не злость, сердечная, это скука — когда от рога до сопереживания, от сопереживания до рога...

У меня рабочий день заканчивается в 16-45 по пятницам, я ж государственный работник у тебя. Но сегодня я припозднился. Все копался в архиве, собирал

документы. Что бы ни делать, лишь бы не с людьми. Работа как работа, не люблю ее, но там нахожу себя, забываю, что надо жить. Одна тележка с документами весит 20 килограмм, ты знаешь? Покатай таких за день... Но я не кладу много: лучше съезжу несколько раз, чем надрываться буду. В дверях приходится подсутиться. А в лифте вообще приподнимать ее и так держать, чтоб колесо не застряло в щели. Сегодня думал о тебе. Бывает, что, когда катаю, ничего не думаю. Бывает, вспоминаю что-то из журнала. Ну вот примерно так и живу. О тебе, конечно, думать самое приятное. Только, бывает, отвлекают.

У них ведь знаешь, какая мода сейчас? Восстанавливают родословную. Как собаки, ей-богу, — только на шею медальки не вешают. Каждый день по 15 заявок, целая профессия появилась — генеалогические агенты. Ну, или как-то они называются там, а для меня они все — агенты. Кто чепухой занимается и за это деньги дерет. У нас от них отбоя нет, с пяти утра стоят, из городов, где нет метро, приезжают. Мы за год больше тысячи запросов получили, и это не считать если старых, с которыми уже возились. А десять лет назад гораздо меньше было. Ну, а когда были мы... Когда были мы — я не знал обо всем этом, я был счастлив.

А тот Новый год, который встречали с тобой. Единственный... Ты ждала меня дома, прижавшись носом к окну. А я шел и улыбался тебе... Твои родители как раз куда-то уехали, и это было чудом. А потом уехали и мы. Сбежали, помнишь? И это было чудом. Тогда вся жизнь была чудом. А сейчас мне странно чувствовать себя живым. Именно так: странно. Без всяких дел, по инерции, без динамики... Все время вспоминая, что с тобой случилось так... Я мало говорю, да и не думать стараюсь — только когда пишу тебе. Именно так и зная, что ты...

Там, где ты сейчас, Новый год, наверное ведь, не празднуют? Нет традиции? А может, празднуют? Я вот сижу, об этом гадаю — смешно. Абсурдно, глупо — что бы про меня подумали все эти люди, мимо которых я вожу свои тележки, если б знали, что за мысли прочно живут в моей голове, — ну и что же? Что мне делать еще, как не думать их? Разве читать.

Но я жду, что ты дашь мне знать. Понимаю, что схожу с ума. Я вот так пишу, потом подхожу к балкону, кружусь по комнате, на часы свои смотрю, журналы бесконечные, и думаю так: надо ущипнуть себя. А толку? Понимаю, что здоров. Понимаю, что не сплю. Сон-то с явью, знаешь, сложно перепутать. И тем не менее я верю — часто верю: ты ответишь. А почему бы нет? Хотя как-нибудь дай знать. Позови меня к себе. Ведь ты же можешь? Здесь очень тихо, здесь снегом залепило все окна, а там, где ты, — там тоже, наверное, снег? Наверное, там его еще больше, там бесконечное сияние белизны, и вообще ничего нет, кроме белого света, — как в песне Высоцкого, помнишь, мы слушали? Ну, я в основном слушал...

Я хочу к тебе, но очень боюсь. А вдруг мы не встретимся? Вдруг никогда не встретимся? А может, и не было ни тебя, ни меня, ни нас, в конце концов?

Однажды мне приснился сон, что я умер. Только я почему-то не испугался. Наверное, потому что не сразу понял. Я ходил — представляешь — в театры, хотя в жизни никогда моей ноги там не бывает, — по улицам, продукты какие-то покупал, ну, на работу приходил, конечно, как же без нее, ведь хоть и сон, а работу-то никто не отменял. И так очень долго. Ну, правда, по меркам сна, пока мне не сказали, что я умер. А кто сказал — не помню, я и в жизни-то людей не различаю. По мне, они все одно, особенно с кем работаю. И я увидел, что изменений-то особых нет, как будто ничего и не случилось, — как жил, так и живу. Даже умер — и то не заметил.

Ну а потом мне объяснили — ты представляешь? — что это все временно. Ну, что-то вроде испытательного срока или... ну, не знаю, адаптировался чтобы. Привык, понял, что ничего страшного нет в смерти-то. И вот потом уже начинаешь разлагаться. Сижу я в том же театре и вижу, что рука моя насквозь сгнила и скоро, мол, отвалится. Да ну и, думаю, хрен бы с ней, но ведь люди вокруг, приличные, наверное. Театр же. Хотя ты знаешь, и театры сильно изменились... Но если б я на сцене был — тогда нормально, там такое можно. А вот в партере... Правда, осмотрелся — людям все равно, как будто ничего не происходит, всё

о'кей, как говорят. Побежал в уборную и в зеркало смотрю: как и предполагал, с лицом серьезные проблемы — все разлагается, уродливое все, и кожа расплывается по швам, и вонь стоит. Хоть и не чувствую, но ведь наверное. Но я уже адаптировался: ведь умно там у них придумано — это во сне так рассуждаю, — я ж уже знаю, что умер, а для мертвеца разложение в порядке вещей. Другое дело — для живого, конечно. И тут я понял, что главное — скорей избавиться от тела. Мертвец какое-то время привязан к телу, а как избавиться — то все, свободен. Так и вышло.

И полетел я с ангелом своим или проводником — я не видел его, только чувствовал — в какой-то огромный город. Это, конечно, серьезное чувство, знаешь, летать над горами и реками — там все почти как у нас. И говорит мне: вот город, ты будешь там жить. И показывает своей ангельской рукой, которую я не вижу. А город на самом деле красивый, прям как у Гребенщикова, помнишь, мы слушали? Ты в основном слушала... Золотой-золотой! Но рассмотреть его не удалось издалека, похож на современный вроде, только окружен какими-то скалами да водоемами, ну, и цвета все ярче, насыщенной, что ли, — и на небе, и на земле. Хотя все вроде то же, что у нас. Я это заметил, а ангел мне говорит:

— Это обычные цвета. Такие были, когда создали Землю. Просто она выцветает, и скоро на ней совсем не будет цветов. Нигде, только здесь.

— Это как, — спрашиваю, — выцветает?

— Обыкновенно, — отвечает. — Время идет, вот и выцветает. А здесь времени нет.

— Подожди, — говорю я. — Так это что же получается? Этот город мертвых — тоже, что ли, на Земле?

— Да, — говорит. — Только здесь все первозданно, вплоть до оттенков, все как задумано, — все, чтобы вечно жить.

Хотел было еще его спросить: мол, как это вообще возможно, что и мертвые, и живые — все соседствуют на одной Земле, да еще и время у них, оказывается, разное. Но тут он говорит:

— Пора прощаться.

— Как же, — удивляюсь, — мы еще до города не долетели.

— Долетишь, — говорит, — когда умрешь. А пока что ты просто спал. Я забрал тебя, — говорит, — для того, чтоб ты просто знал. И другим рассказал. А то думают, что у нас черт знает что.

Будь время, я, конечно, объяснил бы ему, что, в общем и целом, я совсем не идеальный кандидат, чтобы быть избранным. Я ж ни с кем почти не разговариваю, как мне рассказать? Да еще чтоб поверили. Я ведь и сам, признаюсь, не поверил.

А вопросы смерти волнуют меня, конечно. Да и что еще меня может волновать? Ну вот кроме Нового года и того, что мы снова будем не вместе. Я где-то прочитал, что смерти боятся те, чья жизнь ничего не стоит. Конечно, неприятно, а с другой стороны — что же, не жить, что ли? Да и если читать все эти умные высказывания, с ума сойти можно — ведь у каждого свой ум, и все друг другу противоречат, а для себя-то каждый из них прав. Вот многие говорят, что там — после смерти — райский сад, что яблоки цветут, лилии пахнут, все в белых одеждах — но никто в это не верит. Хотя это был бы и неплохой вариант. Только и остается гадать, к чему готовиться, чего ожидать, что да как там будет обустроено и будет ли вообще.

Я ведь не знаю, что там на самом деле. У вас.

Но я согласен буду на все, ты же знаешь. Лишь бы мы могли там встретиться. Неважно как, неважно, все неважно. Кроме того, что люблю.

Твой Матвей».

Заканчивать письма всегда было тяжело: отложив ручку, Матвей Иванович долго смотрел на исписанный лист, но смотрел не вдумчиво, отстраненным

взглядом. Свои письма он никогда не перечитывал, не стану этого делать и я — пусть стиль изложения, а также его пунктуация, орфография и прочее останутся на совести автора письма. Вздыхнув, наконец, Матвей Иванович подошел к своей стенке, открыл стеклянную дверцу и замер, чуть склонив голову. Прислоненная к многочисленным коробкам, заполнявшим все шкафы в доме, на него смотрела старая фотография в деревянной рамке: красивая и строгая девушка, как будто только выпорхнувшая из детства в совершеннолетие, в серьезную взрослую жизнь. Сама рамка была ветхой, и Матвей Иванович каждый раз, глядя на фотографию, боролся с желанием схватить ее и прижать к сердцу — рамка могла попросту рассыпаться. В уголке ее сохранился осколок стекла, который когда-то накрывал всю фотографию и служил защитой от пыли и влаги, но самого стекла давно не было — и со временем изображение деформировалось, пошло волнами, а в верхних углах фотография и вовсе стала заворачиваться. Рамка давно не держала ее, и Матвей Иванович иногда осторожно капал на эти «раны» клеем, прижимал фото большим пальцем и несколько минут так держал, стараясь даже не дышать, чтобы — не дай бог — не повредить ни рамку, ни изображение.

Если бы кто оказался у него дома — пусть это допущение и покажется невероятным, — то счел бы, что хозяин либо крайне скуп, либо чрезвычайно беден. Ведь поместить фотографию в новую рамку — пустяковый, в сущности, вопрос. Но Матвей Иванович считал иначе: он сохранял время. Нельзя осквернять память, думал он, аккуратно прижимая угол пальцем, нельзя опошлять то, что дорого. В осколке стекла Матвей Иванович часто видел свое изображение, и ему казалось, что он вновь воссоединяется с далекой возлюбленной, потерявшейся в прошлом. Он так и шептал, глядя на фото: вместе. Рядом с рамкой стояли засохшие цветы — стояли с незапамятных времен, сколько он помнил свою жизнь в этой квартире. Иногда они тоже отражались в осколке, и Матвей Иванович даже пытался улыбнуться на манер некоторых прилежных отцов семейства: мол, вот жена, вот дочка, вот машина — жизнь как будто удалась. Но, видя свое отражение, переставал улыбаться.

Осторожно, чтобы не задеть фото, он вытащил коробку и поставил на письменный стол. Открыв, начал неторопливо пересчитывать содержимое. Коробка была набита конвертами, и к каждому была приклеена канцелярская записка — желтая, если письмо было написано в обычный день, красная — если в праздник. Так Матвей Иванович поступал со всем, что было у него в доме. А были-то здесь только эти письма и литературные журналы — страсть к упорядочению, которым он ежедневно занимался на работе, подчинила его и дома. Хозяин терпеть не мог не только когда что-то оказывалось не на своем месте, но и когда это «что-то» было не учтено должным образом. Временами он проводил даже небольшие инвентаризации, проверяя, всё ли на месте, хотя и понимал: разве что всемирный потоп способен внести изменения в его домашние архивы.

Упаковав исписанный лист и открытку в конверт, он заклеил его и налепил записку. Подумавав немного, выбрал желтую: все-таки праздник еще не настал. Подписывать сам конверт не стал: отправлять письмо было некому.

Поддавшись внезапному порыву, оставил коробку, подошел к балконной двери, дернул занавеску, открыл дверь и прошагал на замерзший балкон. Громкий смех — вот что привлекло его внимание: через его двор особо не ходили жильцы других домов, для пьяниц во дворе не было лавок, для детворы — площадок. Только иногда сидели странные парни, слушали музыку из телефона и громко смеялись — этим не нужно было ничего, они могли сидеть на траве летом или на низком металлическом заборчике высотой с птицу голубя, символически отгораживающем проезжую часть двора. Их музыку Матвей Иванович не любил, вот и сейчас напрягся внутренне: не те ли парни? Жизнь молодежи его напрягла. Себя он, конечно, помнил другим, однако знал, что это, в общем, нормально: те, кто моложе, всегда другие. Но сейчас во дворе смеялись не те парни, и смех был совершенно иным — несколько голосов кричали, перебивая друг друга. О чем-то спорили подростки, на ходу пиная мяч. Видимо, вернулись с позднего футбола, а возле самого входа в подъезд надрывался мужик с сигаретой в зубах:

— Молли! — орал он, постоянно захлебываясь в кашле. — Молли, где ты шлялась? А ну домой быстро! Сколько можно уже черт-те чем заниматься!

Матвей Иванович потерял интерес к происходящему: подростки скрылись в подъезде, к мужику бежала собака — это ее он, оказывается, звал. Скоро все стихнет.

— Жизнь, — ворчал Матвей Иванович, закрывая балконную дверь. Через каких-то пять–десять минут, убрав коробку с конвертами, он будет лежать на своем диване. Любимом? Нелюбимом? Просто том, который у него есть, ведь диван — это не цель и даже не средство. И, выключив весь свет в квартире, кроме маленькой лампы у изголовья, читать очередной толстый журнал, в тишине перелистывая страницы, изредка покашливая и ворочаясь, а иногда поправляя подушку. Мобильник всегда лежит рядом, но на него никто не звонит — так, иногда приходят эсэмэски-оповещения, которые он изредка просматривает. Читается он только в журнальные тексты. Наблюдая со стороны за процессом такого чтения, можно было бы подумать, что оно не кончится никогда, что ни одна сила в мире не способна остановить этот спокойный, уютный, но необратимый процесс, что не нужно Матвею Ивановичу ни есть, ни спать, ни пить воду, ни жить вообще — только читать журналы. Если бы была возможность понаблюдать за этим чтением, можно было бы сказать: оно завораживает. Но такой возможности не было, нет и, наверное, не будет.

Лишь иногда Матвей Иванович покачает головой или — того больше — сплюнет и тихо выругается. Ведь ему нравится далеко не все, что печатают в толстых журналах, хоть и читает он всё. Правда, журналы приходят настолько часто, что он не успевает порой прочитать их все, возвращается, когда высвобождается время. Вот и сейчас, перед самым Новым годом, он добрался до майской еще «Невы», где осталась пара непрочитанных рассказов.

Однако он читал — читал старательно, упорно, даже нелюбимых авторов, читал из уважения к авторитетам журналов, к типографскому труду, да и просто из привычки читать все от корки до корки — как запрограммированный. Матвей Иванович и не задумывался, почему так. Только иногда закрывал глаза, устав от этих журналов, или откладывал их и глядел в потолок и думал: как скучна жизнь. Как скучны все эти авторы, пытающиеся что-то там... никто никогда не узнает, чего они там возьмется, чего пытаются... Но, прочитав журнал до конца и закрыв его, Матвей Иванович оставался наедине с другим чувством — страхом. Это было в нем с детства: когда заканчивалась интересная передача по радио или ТВ, какой-нибудь фильм, но особенно — книга, наступало мучительное и неизбежное возвращение в реальность. Маленького Матвея словно обдавало ледяным ужасом: от реальности мутило, он не знал, что с ней делать. И сейчас, спустя годы, это знание он так и не приобрел — а ведь сколько прочитал журналов! Ему все так же было страшно возвращаться. И тогда он наливал чай, пододвинул к окну на кухне, не зажигая света.

«Интересно, задумываются ли они, кто их читатели? Знают ли, что это я?» — проговаривал Матвей Иванович, обращаясь мысленно к редакторам, издателям и другим людям, которых он представлял себе примерно так же, как героев древнегреческих мифов или космических пришельцев, — то есть не представлял вообще. Да и не хотел представлять: журнал — это бумага и буквы, журнал неживой, неодушевленный — и потому столь приятный сердцу. Пусть и будет таким, так лучше.

«Может, завести собаку?» — иногда подумывал он, но от этой мысли передегивало, как от удара электрическим током. К горлу подступали воспоминания, голова становилась тяжелой, глаза наполнялись горечью.

Временами Матвею Ивановичу казалось, что она не погибла: он сомневался, ворошил сухие бумажки и неподъемные гранитные плиты памяти, все думал: могло ли сложиться иначе? Остается ли шанс на то, что она выжила? Если мыслить разумно, если мыслить логически, если вспомнить, если все вспомнить...

Как она погибла? Он не знал точно. Все случилось, как в песне: «Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет». Тогда она была популярна, эта песня, и они

слушали ее вместе — все слушали ее. А потом песня перестала быть песней. Он помнил только три слова: «ее больше нет». Врач так и сказал, словно по тексту. И он не смог защитить ее, потому что его не было рядом. Впрочем, в памяти хранился и другой случай — когда он рядом был. И тоже не смог защитить. Матвей Иванович хватался за голову и сдавливал ее так больно, как только мог, чтобы не заорать. И он никогда не орал.

И лишь совсем изредка — когда приближался к границе сна и яви (впрочем, это ощущение субъективное) — ему хотелось, чтобы случилось что-то — хоть необычное, хоть обычное, но хотя бы что-то случилось, произошло. Он смотрел на Луну, и к нему приходили странные мысли: вот если бы провести прямую — а что, если такое возможно? почему бы и нет? — между ним, стоящим возле окна, как точкой А, и Луной как точкой Б, а затем от Луны спустить новую линию — туда, где она. Ведь где бы она ни пребывала, с Луны это наверняка известно. И что, в конце концов, стоит провести эту чертову линию? Ведь школьные знания по геометрии должны же хоть где-нибудь пригодиться, так пусть помогут нам встретиться, — отчаянно думал Матвей Иванович. Ну а потом, как последний штрих к счастью, останется соединить отрезком точки А и С — его и ее. И наконец встретиться — в лунном сиянье, пока серебрится снег.

Ночью мне покоя не дает
Горькая моя вина. —
Ночью за окном звенит, поет
Тишина... —

почему-то всплыла в памяти навязчивая мелодия. Когда-то ее слушали родители, бережно вытащив из полиэтиленовой упаковки черный виниловый диск и подведя к его краю хрупкую иглу. От мистического соприкосновения рождался звук. Слушал и маленький Матвейка, застывая в почтительной позе. Музыка была церемонией, ее прослушивание планировали, и оно, конечно, было важным пунктом в программе выходного дня. Потом были другие песни, сотни других песен, десятки любимых песен... Но они все ушли, осыпались болезненными листьями с дерева памяти, лишённые главной подпитки — юности.

А эта — осталась. Нет, совсем не случайно услышал Матвей Иванович, проходя мимо чьих-то окон, именно ее.

«Ведь перед Новым годом все возможно, разве нет? — мечтал, задергивая шторы и прощаясь с Луной, Матвей Иванович. — Иначе зачем он, Новый год, нужен?»

28 декабря

Вагон метро, на боковом сиденье которого открыл глаза, дернувшись, словно от испуга, заспанный человек, не был ничем примечателен. Да и человек тоже не был примечателен — ведь это все тот же Матвей Иванович, в шапке с ушами и сползающих очках. Он засунул руку в карман, вытащил телефон, быстро нажал несколько кнопок и отправил телефон обратно. Осмотревшись, увидел нескольких скучающих людей в своем вагоне и таких же, совсем от них неотличимых, — в соседнем. Наверное, и сам Матвей Иванович был тоже неотличим.

Гораздо интереснее был вид за окном, и, чтобы рассмотреть его, Матвей Иванович даже встал и подошел к дверям, уткнувшись в стекло и дыша на него. За окном раскинулось море. Правда, совсем не бескрайнее, это была маленькая уютная бухточка, где нашли пристанище и стояли, не торопясь никуда, прогулочные катера и тут же, рядом, совсем крохотные ялики, — и все это на расстоянии нескольких метров от проезжающего вагона, а чуть подальше, в глубине бухты, направлялись в открытое море парусные яхты. На другом берегу зажигались первые огни, хотя еще всюду светило солнце и доносилась сквозь шум вагона

приятная музыка без слов. Матвей Иванович вскинул взгляд и увидел чаек, пролетающих прямо над поездом: вот бы открыть форточки — может, одна залетит? Пассажиры вяло поглядывали вперед себя, а затем опускали глаза — они привыкли к этой бухте за долгие, должно быть, каждодневные поездки, — привык к ним и Матвей Иванович, конечно, он не раз уже видел море, он знал эту бухту до мельчайших деталей, он помнил, как разбросаны вдоль берега огромные камни, он видел скамейки на набережной, счастливых людей, которые гуляли между торговыми палатками, кричащих зазывал в нелепых фуражках, стилизованных под капитанские. Он знал, что сейчас поезд сделает плавный разворот, и бухта скроется за деревьями, и некоторое время, повернув голову, еще можно будет что-то рассмотреть. Если повезет, блеснет вечернее солнце на чистой воде, а затем взору откроется стена высокой скалы, в вагоне резко потемнеет, и включится дополнительное освещение. Ну, а затем исчезнет и этот вид — поезд войдет в тоннель, и вместо смеющихся лиц, беззаботных яликов и солнечных бликов на море за стеклом поплывут бесконечные провода, металлические трубы, стальные колеса где-то под ним заскрипят, заскрежещут, и все снова станет простым и бесцветным, как лица пассажиров. Станции возле моря не было, и даже просто так, чтобы «продлить мгновение», поезд здесь не останавливался, напротив, на этом открытом участке ускорял движение — и Матвей Иванович каждый раз испытывал нестерпимое желание разжать двери да и выпрыгнуть на ходу, сбросив осточертевшую шапку, уронив — черт бы с ними — очки, кинуться в море с разбегу. Не раздумывая, не соображая, упасть в соленую, добрую, мягкую воду. Упасть и пропасть.

Но пути были ограждены, рельсы — наэлектризованы, да и на такой скорости он бы наверняка расшиб голову или попал под встречный поезд. А главное, конечно, что, привыкший к бумагам, к архиву, к дивану, он никогда бы не решился на это действие, которое так выбивалось из общей канвы жизни. Матвей Иванович возвращался на свое место и терпеливо ждал, пока провода за окном сменятся невзрачной платформой, поезд сбавит ход и в вагоне откроются двери. Тогда он выходил, шел по платформе, вслушиваясь в гул уезжающего поезда, поднимался по лестнице и попадал в подземный коридор, а оттуда на улицу, где уже не было ничего примечательного. И чайки не кружили, и совсем не пахло морем — дули ветра, ругались за место у метро водители бесчисленных маршрутных такси, зазывали торговцы теплым бельем, коченеющие от холода, пахло жирной и вредной пищей. И молчаливой, бесстрастной стеной за всем этим вставали серые дома с окнами-клетками, аптеками и офисами микрозаймов на первых этажах («Зай, возьми займ», — набрасывалась на прохожих школьница с листовками, и ей шутили в ответ: «Вай! А давай!», так и грелись). Матвей Иванович огибал эти дома, проходил по пустынному скверу, состоявшему из двух треугольников зелени и отрезка — сказать бы вернее, огрызка — тропы между ними. Иногда к нему мчались, виляя радостно хвостами, местные собаки, и местные хозяйка кричали им «фу», что было Матвею Ивановичу неприятно.

Сам же он здесь не был местным, но прекрасно знал дорогу и прошел бы ее, наверное, с завязанными глазами — хотя обстоятельств, при которых такое могло случиться, и представить не мог. Спустя каких-то десять минут он оказывался там, куда направлялся, отряхивал снег с рукавов, яростно топал ногами, сбивая уличную грязь, стучался, нервно прикрыв глаза, в дверь и, услышав ответ, хватался за ручку.

— Добро пожаловать в гостеприимный дом наш, так сказать, спокойствия, душевного равновесия, где вас всегда поймут, выслушают и ни в коем случае не осудят!

С такой или похожей речью его приветствовал массивный человек с большой рыжей бородой и в белом халате. Человек непременно вставал, отрываясь от своих записей, и шел приветствовать вошедшего, посмеиваясь и покачиваясь, на ходу застегивая пуговицы. Матвей Иванович протягивал руку, скромно потупившись, и даже немного, так, чтобы не нарушать приличий, отворачивался. От человека все время пахло коньячком, а алкоголя Матвей Иванович на дух

не переносил. Бородатый долго тряс его руку и что-то приговаривал, и Матвей Иванович ждал обыкновенно, когда же можно будет присесть и отдышаться с дороги.

— Чувствуйте себя как дома, — распорядился человек в халате, — но не забывайте, что вы в кабинете своего лечащего врача.

Он суетливо доставал из кармана ключ, запирает дверь кабинета и направляется к шкафчику: за секретной дверцей обнаруживались открытая бутылка коньяка и два бокала.

— За все хорошее? — традиционно кивал на бокалы доктор, и Матвей Иванович так же традиционно отводил взгляд. Тогда один бокал оставался на месте, второй же вместе с бутылкой переключивался на стол — бумаги сдвигались, бутылка открывалась, и кабинет наполнялся терпким запахом. Соседний стол был пуст, экран монитора выключен, и Матвей Иванович бросал вопросительный взгляд на доктора.

— Выкладывайте, — доктор изображал романтическую улыбку, а может, и действительно искренне улыбался в предвкушении коньяка. — Все, что беспокоит. На-чис-то-ту! Только ничего не скрывайте, все равно узнаю, — он схватил бокал и сделал пару жадных глотков. — О-о-х! — выдохнул. — До чего жить прекрасно!

...Матвей Иванович сидел без движения, не обращая внимания на эти слова.

— Сегодня мы только вдвоем! Для меня встреча с вами — ну настоящий праздник, — расплылся в улыбке доктор.

Матвея Ивановича слегка передернуло:

— Это почему?

— Ну как же... — доктор обвел руками стол, бокал с бутылкой, но вдруг решил не продолжать. — Ладно. Как ваши дела? Язык-то покажите.

Пациент нехотя высунул язык.

— По утрам чистить надо, вы хоть в курсе? — начал врач. — Налет на языке — очень вредная вещь. Всего-то надо: утром проснулись, взяли столовую ложку и поскребли по языку туда-сюда, — он смешно двигал рукой перед своим лицом, но Матвея Ивановича картина не впечатлила: он зевнул.

— Ну надо же, какие молчаливые пациенты пошли, — возмутился врач и принялся что-то записывать. — Приходят к доктору и молчат. Оно, конечно, ваше дело — я же работаю, время, как говорится, идет. Но вот пока мы тут сидим и молчим, кому-то может понадобиться настоящая помощь. А? Каково оно?

— У меня тоска, — выдавил наконец Матвей Иванович.

— Вы меня не удивляете! — всплеснул руками доктор. — Вы бы хоть пили. Я вот люблю коньяки, хорошие сигары.

— Не могу. Я только чай.

— Чай вреден в больших количествах, — доктор замотал головой. — Может быть рак, это я вам серьезно говорю. Особенно если запивать. А у нас, знаете, все пьют после еды — чай этот. Ожог слизистой рта, пищевода — с гарантией, что называется, с доставкой на дом, — он отхлебнул еще коньяку. — Получите-распишитесь. Мы заливаем желудок чаем и вызываем тем самым мощнейший выброс желудочного сока в пищевод, ну, по-простому, знаете, — изжога. Ну а потом вы глотаете таблетки, чтобы эту изжогу сбить, а таблетки, думаете, полезные? — вот так и получается рак нижней трети пищевода. А ожог слизистой рта, когда вы чай пьете? Это все атипия клеток, это все опять же рак. Ну, элементарные вроде бы вещи, согласитесь?

— Все может быть, — растерянно ответил Матвей Иванович. — Но все приводит к смерти так или иначе.

— Все — это все, — ответил доктор. — А чай — он вернее всего.

— Знаете... — Матвея Ивановича очевидно не интересовала тема чая, и он наконец решил сказать самое важное, зачем сюда и пришел: — А бывает такое, что человек мертв, а ему кажется, что он жив?

— Нет, что вы, — доктор смешно вытарашил глаза, но Матвей Иванович снова даже не улыбнулся. — Скорее, наоборот.

— А у меня вот такой случай.

— У него такой случай, — рассмеялся, передразнивая, доктор. — Ну откуда же вы знаете, какой у вас случай? Вы что, врач, что ли? Ох, подождите, попробуйте. — Он взял паузу, но вместо того, чтоб просмеяться, хватил еще коньяку и открыл бутылку, чтобы добавить в бокал. — У вас другой случай, Матвей, как вас там, Иоаннович! Вы здоровый человек в расцвете сил. У которого в порядке все анализы, в норме — представляете! — все показатели. И сердце-то работает как пламенный мотор, и дышите полной грудью, и держитесь ровно, да что там — вы даже не кашляете! А печень... здесь я могу вам только позавидовать, — он покачал головой. — Для вашего возраста идеальные результаты. А депрессия... Вообще, я вам скажу, это у многих — предновогоднее, чего поделаться.

— У меня нет депрессии.

— Это как же? — рассмеялся врач. — Праздники на носу, и нет депрессии?

— Настоящие праздники — это когда чего-то достиг, чего-то добился. А у меня никаких достижений нет. Так, даты на календаре.

— У вас просто скука. Вы скучаете, — предположил врач.

— Я не знаю, что такое скука. Просто живу, как умею. Я не хочу скучать! И вроде хотел бы радоваться или вдохновляться чем-то, но не могу. Я живу ровно и одинаково уже много лет. Но когда подступает Новый год, настроение качается. Эта вынужденная радость, необходимость: вот, в этот день я должен быть счастлив, но не буду, — она выбивает почву из-под ног.

— А чего вы не будете? — спросил врач.

— Меня вдохновляла только она. Вдохновляла на жизнь, на праздники.

— Помню, помню... Вы не можете ее забыть, — доктор покачал головой, посмотрел на коньяк, но не стал пить. — Случай сам по себе, конечно, нередкий. Но ведь вы осознаете, — он сделал паузу, — что это произошло двадцать пять лет назад?

Матвей Иванович молчал.

— Послушайте, это нездоровая ситуация, чтобы несчастье случилось двадцать пять лет назад... и человек все не мог забыть. Это, конечно, понятно, но жизнь — она... Она ведь... — доктор испытал странное ощущение, что ему нечего сказать. В голове вертелась какая-то чушь, и он резко захотел сплунуть, но в присутствии пациента не стал.

Матвей Иванович поднес палец ко рту и стал нервно обкусывать ногти.

— Ну, женщины есть, наконец! Вы б с женщиной познакомились!

— У меня на работе одни женщины.

— Вы ж там тележки возите тяжелые, какие женщины? — удивился врач.

Матвей Иванович тягостно вздохнул.

— Вы знаете... Я говорил ведь в прошлый раз. Да и вообще... Моя работа — она не такая.

— А какая?

— Ну, и такая тоже, но и не только такая. Мы, например, занимаемся оцифровкой. Тем, кто в архиве никогда не был, кажется, что там должны быть такие папки с историей человека до пятого колена. А на самом деле все приходится искать. Нужно знать, когда родился человек, — нам заказывают платный поиск. Запросов к нам тьма, все как сумасшедшие, в четыре-пять утра стоят, дежурят по ночам. А нас всего шестеро сотрудников. — он шмыгнул носом и замолчал.

— И все женщины?

— Ну, в нашем отделе — да... Кроме начальника. Зарплата, знаете, не очень чтобы большая. Зато Бездушная машина не вызовет в кабинет.

— Ну, это уж не зарекайтесь! — хохотнул врач. — А зарплата? Ко мне же ходите! Значит, позволяет.

— Да мне-то, если честно, зарплата и не так важна. Покой и тишина. Там документы, знаете, в коробках или бумагой обернуты, чтобы пыли скапливалось меньше. А какие не обернуты — те оборачиваем. То пылесосим их, то реставрируем и обрабатываем от грибка. Температуру надо, влажность поддерживать.

А потом данные сверить, заголовки... Если мы ничего не будем делать, кроме оцифровки, на одну нее пятьдесят лет уйдет. У нас миллион дел в архиве!

— Пятьдесят лет уйдет, — помрачнев, повторил врач и зачем-то достал из-под халата массивный крест на толстой цепи. Взял со стола тряпку и принялся аккуратно протирать крест, временами дыша на него и приговаривая: — Вот неужели вы так всю жизнь и прожили: в одиночестве, в лишениях, без радости? Без дружеского приветливого слова?

— Где мне друзей брать? — пожал плечами Матвей Иванович и вдруг заметил на столе глянецовый журнал. Слегка сморщился и прочитал название:

— Журнал «Счастье»? — переспросил он. — Вы что же, читаете журнал «Счастье»?

— Ну, допустим, не я, — врач все дышал на крест и протирал его. — Помощница. Ей, знаете, интересно, много находит для себя полезного. А вам что-то не нравится? — спохватился он.

Матвей Иванович знал о существовании таких журналов, хотя и не разбирался в них — брезговал. Для него они все были либо о «шопинге», либо о «пилинге» — он выучил эти два слова как главные из ругательств, которые не должен был допускать не только в речи, даже и в мыслях, любой мало-мальски интеллигентный человек.

— В этих журналах нет жизни.

— Аха-ха, — громко, на весь кабинет расхохотался врач. — А в «Октябре» она есть? Или где там? В «Дне и ночи»? В «Арионе»? Не смешите меня, — попросил он, хотя было уже поздно.

От столь бурной реакции пациент стусевался и замолчал.

— А вы-то что — почитываете по-прежнему? — врач снова спрятал крест, убедившись, что теперь он чист. — Что вы еще там выписали? «Огни Кузбасса», «Сибирские», или, может, новые какие разгорелись?

Матвей Иванович вспомнил, как перечислял названия журналов на одном из прошлых посещений. Странная избирательность доктора заставила его насторожиться: тот что, смеется, что ли, за его же деньги?

— А что? — спросил Матвей Иванович. — От этого тоже рак?

— Ну что вы! — воскликнул врач. — От этого, как в сказках, слышали: сначала каменеют ноги, потом руки, за ними туловище, а уж потом вы и сами целиком становитесь камнем, — он захохотал.

— Не замечал такого за собой, — ответил пациент.

— Так вы ж за собой совсем не следите. Вот и не замечаете. А вообще, конечно, знаете, я тоже люблю литературу. И о литературе люблю поговорить. Но о хорошей. А хорошей мало. Вообще, литература — это зеркало, — он усмехнулся. — Зеркало души. Ну а на зеркало, как говорится, неча пенять.

— Вот я и смотрюсь в зеркала, — почти прошептал, прикасаясь к сакральному, Матвей Иванович.

— Да, только души кривые пошли... Вот и зеркала покривели. Мой вам совет: не смотрите в кривые души!

— Но что же... — Матвей Иванович ошутимо разволновался. — Что же мне тогда вообще делать?

— Вам нужно чем-то заинтересоваться, увлечься. Найдите какую-нибудь зацепку. Потому что ситуация, конечно, нездоровая, — врач посмотрел на часы, взял со стола бутылку и направился к шкафчику.

— Ситуация нездоровая? — переспросил Матвей Иванович. — Вы врач, и вы говорите, что ситуация нездоровая. Я здесь затем, чтобы это услышать?

Врач остановился, лицо его приняло серьезный и как будто тревожный вид.

— Вы на самом деле давно ее забыли, — сказал он. — Просто не понимаете этого. В какой-то момент своей жизни вы не желали идти дальше, остановились. Вы не можете забыть именно это, а не ее.

Матвей Иванович вздрогнул и, сам не ожидая, разозлился:

— Мне нужна таблетка. Не знаю, средство какое-нибудь. Выпишите мне рецепт!

Но тут же успокоился, стих.

— Друг мой! — рассмеялся врач, отпирая дверь кабинета. Прием подходил к концу. — Медицина — это не только таблетки. От таблеток и умереть можно, вы в курсе?

— Умереть от всего можно. Это не страшно. Точнее, страшно... Я очень боюсь умереть. Но не умереть именно... — Матвей Иванович загнулся. — А то, что там. Я боюсь того, что там.

— И какой подход вам ближе? — заинтересованно спросил доктор. — Религиозный? Научный? Вы ведь думаете о том, что там будет.

— Я не религиозный человек. Но самый страшный подход — научный. Что там не будет ничего. Вот этого я боюсь...

— А что же страшного? Вы смотрели фильм «Терминатор»? Экранчик схлопнется с четырех сторон, и все превратится в точку. Точка помигает и погаснет, вот и сказочке конец. Научный подход! — рассмеялся врач. — Научный подход говорит, что если где-то убывает, значит, где-нибудь прибудет. Вы убедите здесь и прибудете где-нибудь еще. Как поезд! Скоростной экспресс!

— Другое дело... — прошептал Матвей Иванович взволнованно. Ему как будто на глазах становилось плохо, он часто задыхался и начал покрываться потом. — Другое дело, куда я прибуду.

— А вам-то что? Куда-нибудь да прибудете. Я думаю, что там... знаете, как в песне: я уверен, что у них то же самое.

— Я боюсь... — проговорил Матвей Иванович, сглатывая. — Я боюсь, что мы с ней... Там. Никогда... Не увидимся.

Врач наконец начал понимать, что Матвею Ивановичу становится плохо, и засуетился, резко дернул дверцу шкафа, но вытащил оттуда уже не коньяк, а какие-то маленькие бутылочки и принялся их судорожно перебирать в руках.

— Мне не хватает кислорода... Кислорода... — пробормотал Матвей Иванович. Он резко побледнел и даже не заметил, как следом за ним побледнел и врач.

— Что ж такое... — бормотал врач. — Что же такое? Где она ходит? Я же ничего не понимаю, ни-че-го здесь не понимаю!

Комната начала переворачиваться, изображение застыло, и Матвей Иванович уже не видел перед собой врача, а лишь смотрел бесконечно сменяющиеся слайды: кабинет, стол, застывшая фигура у шкафчика, стул, с которого он только что упал, и приоткрывающаяся дверь кабинета — кто там? Кто же там? Он отчаянно посылал импульс в руку, желая протянуть ее, рвануть скорее дверь, не понимая, что не дотянется, и всеми жилами чувствуя, что нужно лишь сделать одно движение — только одно чертово движение. Но слайд в голове уже замер, и вот картинка разделилась на четыре, а те — еще на четыре каждая, все вокруг множилось и уменьшалось, и, протянув руку, можно было лишь разбить все эти маленькие картинки, раздавить, как пчелиные соты, спрессовать или вдарить по ним кулаком — чтоб разлетелись на тысячи дребезжащих осколков. И осколками засыплет его бедную голову, и потечет кровь из ран, и запрыгают, засверкают они на полу, устремляясь в самые дальние углы — под шкафчик, под стол, под ржавую батарею, под плинтус — туда, где рухнула, издав глухой и тяжелый звук перед тем, как надолго успокоиться, голова Матвея Ивановича.

И маленькие картинки посыпались вниз, ускользая с экрана зрения, оставляя лишь черную простыню: она укутала Матвея Ивановича, укрыла его — от всех невзгод и бедствий, от всех страданий и воспоминаний, от троллейбуса на заснеженной улице и моря из окна вагона, от оцифровки пыльных страниц и отошедшего угла на фотографии, от засохших цветов и собак на улице, от наступающего Нового года, от недочитанного Данилова — не альтиста, как... когда-то давно, а признанного писателя — в недавнем «Новом мире», оставленном на кухне, и от вас, уважаемого читателя, и от меня. Стало тихо, как Матвей Иванович и любил, — но надолго, не навсегда.

— Ну, дышите, дышите... Не хватает ему... — услышал он через какое-то время, и чернота начала расступаться. Матвей Иванович хотел дернуться, подскочить, но понял, что ко рту прижата какая-то трубка, причем прижата настолько крепко, что он даже не может шевельнуть головой. Едва начав хоть что-то понимать, он увидел, что массивную трубку к его лицу изо всех сил прижимает хрупкая маленькая девушка в белом халате. Матвей Иванович замычал, и девушка неторопливо убрала трубку, а потом одарила доброжелательной улыбкой и слегка нагнулась к нему:

— Вот и славно, — почти пропела она. — Вот и мило.

«Какой раздражающе ангельский голосок», — подумал Матвей Иванович, мысленно заменив другую, более грубую характеристику, но сама девушка ему была симпатична, сверх того — его не покидало ощущение, что они уже виделись раньше. Голова раскалывалась на части, но Матвей Иванович сделал усилие над собой и присел. Осмотрелся и обнаружил себя на столе, похожем на операционный, посреди небольшого кабинета.

— Вы кто? — выдавил из себя он, чем вызвал странный залиvistый смех девушки.

«О боже, — простонал мысленно Матвей Иванович. — В дурных стихах про таких пишут, в журналах из Кишинева». Девушка была очень приятна собой, невысока ростом, как он отметил, стройна и зеленоглаза, но что за нелепое поведение, что за нарочитая игривость, дурашливость? — Наверняка, в каком-нибудь цветастом платье ходит или хуже того — в горошек. От задорного смеха еще сильнее разболелась голова, но, глядя на то, как девушка ведет себя, как пританцовывает возле него, заламывает — будто в театре — руки, закатывает глаза и снова, снова смеется, хотелось рассмеяться самому. Но он, конечно же, сдержался.

— Вы каждый раз задаете этот вопрос мне, каждый божий раз, — пропела девушка.

— Каждый раз, как что? — удивился Матвей Иванович.

— Как откроете глаза и замычите, да-да, зам-мычите, — повторила она.

— Выходит, я опять потерял сознание?

Матвей Иванович, кажется, начал вспоминать, где он был до того, как погрузился в черноту: картина произошедшего стремительно восстанавливалась, а тут и девушка, приблизив свое лицо к нему — так близко, словно хотела поцеловать, пропела как будто бы торжествуя:

— Ваш лечащий врач называет это «разволновался», — для убедительности она несколько раз кивнула головой, зачем-то повторила: — Врач, — и снова дико рассмеялась, отстранившись от него и резко вскочив.

— У вас вызывает смех то, что он врач? — спросил Матвей Иванович.

— Ну что вы, — ласково ответила девушка, — У меня вызывает смех все.

— И я? — буркнув это, он сразу понял, что сморозил глупость. Но девушка как будто не заметила.

— И вы, — воскликнула она. — Вы же такой смешной!

— Это плохо, — сокрушенно сказал Матвей Иванович.

— Наоборот! — чуть ли не закричала девушка. — Это же замечательно! Это значит, что с вами весело.

Матвей Иванович не мог поверить своим ушам: в последний раз он слышал это двадцать пять лет назад, тогда... от нее... А может? Может, и нет. Может, он уже слышал это здесь, в этом кабинете, от этой девушки.

— Слушайте! — резко сказал Матвей Иванович. — Мне надо знать. Я часто здесь... вот так?

— Постоянно, — расхохоталась девушка. — Самым что ни на есть постоянным образом! Ой, самой смешно!

Он протянул руку к ней, словно стремясь проверить ее реальность, но тут распахнулась дверь, и вошел рыжебородый врач. Кажется, он снова пребывал в приподнятом настроении.

— Варенька! — заголосил он. — Ах ты ж, Варенька моя!

К удивлению пациента, рыжебородый, совершенно не стесняясь его присутствия, схватил девушку сзади, и она — вместо того, чтоб отстраниться, лишь прижалась к нему и — конечно же, рассмеялась. Рассмеялся и врач:

— Так уж вы поняли, Варенька, что сердечку моему захотелось, — довольно сказал он, и девушка замурыкала в ответ. — Пойдемте, лисичка моя!

— Простите, — застенчиво сказал Матвей Иванович. — Вы не могли бы... со мной все в порядке? — но дверь уже захлопнулось, и врача вместе с Варенькой след простыл. Матвей Иванович удивился, почему врач даже не обратил на него внимания, не посмотрел, но потом — как это часто делал в непонятных ситуациях — подумал: «Ну и черт с ним». Повалился на стол, закрыв глаза и предавшись не отягощенному мыслями отдыху.

«Ну мало ли что в жизни случается, — подумал напоследок, и только в этот момент его внезапно резануло: — Лисичка моя! Он что же, сказал: лисичка моя?»

Сна больше не было.

Матвей Иванович писал письма часто. Такая была терапия, как он сам тихо себе говорил. Конечно, никакого ответа не ждал, просто нужно было выговориться — он не умел и не желал это сделать вслух. Да и монолог человека в пустой квартире по всем принятым в обществе правилам представлялся чем-то странным, даже безумным, а это имело для Матвея Ивановича значение. Писать и читать представлялось Матвею Ивановичу более естественным для человеческой природы, чем говорить и слушать. Он ничего не мог с этим поделать и очень печалился от того, что в обществе все было наоборот.

«Где ты теперь?» — этот вопрос он задавал в каждом письме, проговаривал его мысленно, глядя на луну из своего крохотного, теплящегося огоньком тусклой люстры окна. Он не верил ни в бога, ни в черта, но он почему-то знал, что человек не может исчезнуть просто, что он переселяется, переезжает куда-то, оставляя здесь физическую оболочку, которую с каждым годом все тяжелее носить, все большего внимания требует она к себе, все большего терпения — необходимость тратить жизнь на ее интересы. Матвей Иванович знал по себе, и это при том, что он не болел — просто старел, как все люди, изнашивался, как все тела. Он полагал, что человек — это зреющий огурец или кокон, в котором наливаются силами бабочка, что тело по мере того, как вызревает сама личность, сама человеческая единица, перестает исполнять свою функцию, отмирает и в конце концов отваливается. И новая жизненная сила, взросшая в стареющем теле, сила самостоятельная, взвивается над этим миром и мчится в другие — туда, где и начинается жизнь, которой никогда не было здесь, в темном и липком коконе.

Но Матвей Иванович отдавал себе отчет, что это лишь теория, причем его теория — в которую он хотел верить. Даже не так — заставлял себя верить, но вместо которой (и он не забывал об этом ни на секунду) там его может ожидать множество других вариантов. Поэтому его пугала собственная смерть, но в то же время он не мог проститься с нею в мыслях. Однажды, двадцать пять лет назад, он оказался повенчан с ней, как Че Гевара с мировой революцией, и они ходили бок о бок: он все пытался прикоснуться к ней, но всякий раз опасливо отдергивал руку. А она до поры до времени не трогала его, но и не отпускала, крепко привязав к себе мыслями: какой бы она ни была, что бы ни несла ему, Матвей Иванович знал, что смерть — единственный посредник между ним и ею.

Тогда, в первые годы, он по инерции жил, не сторонился людей и даже знакомился с женщинами, но это не вызывало в нем никаких чувств, ничего не меняло в жизни, и вскоре он перестал. Со временем осталась одна литература, одни толстые журналы. Смысла в такой жизни не было, но другого смысла тоже не находилось. «Для чего живут такие, как я, на свете?» — задавал себе вопрос Матвей Иванович, закрывая очередную «Волгу» или какую-нибудь обновлен-

ную «Аврору» и подолгу глядя в зеркало. Зеркала притягивали его странной силой, он замирал возле них и порой убеждал себя в том, что может оказаться по ту сторону — стоит лишь протянуть руку, и зеркальная рябь разойдется, и рука, а затем и все тело Матвея Ивановича, и даже очки, и шапка с ушами — все провалится туда, в зеркальную глубину. Но палец наткнулся на холодное стекло, и Матвей Иванович, вздыхая, возвращался к текущим делам.

Кем он хотел быть прежде? Кем стал? Тысячи букв, предложений, абзацев, страниц протекали сплошным потоком мимо его глаз. И ничего не меняется, писатели жизни кладут, чтобы появиться в журналах вроде «Знамени», «Нового мира», «Москвы», «Дружбы народов», да на худой конец в «Вологодской прозе» или «Бельских просторах», чтобы попасть в поле зрения Матвея Ивановича, бездвижно лежащего на диване, перед тем как он снимет очки и погасит лампу. А сколько тех, кто и к этой цели не приближается никогда, кто может о ней лишь мечтать! А потом все журналы лягут в архив и покроются пылью, и вскорости сами ею станут.

То, чем он занимался на работе, соответствовало главной идее жизни, которая и сформировала его как человека: не дать чему-то исчезнуть, сохранить что-то, продлить, а иногда и дать вторую жизнь... Все остальное его интересовало мало, с давних лет он привык смотреть не на мир, а сквозь мир.

Но только она этого уже не знала. Она была другой: играла на гитаре, сочиняла легкие стихи, хотела одного — быть собой. Ему было около двадцати, ей — около восемнадцати, в юные годы возраст всегда «где-то около». Ее родители не любили Матвея за его увлечение журналами, которое демонстрировало праздное, как им казалось, отношение к жизни.

— Ну что, излечился? — так и спрашивала молодого Матвея ее здоровая мама всякий раз, когда он заходил к ним в гости. Как и полагается в успешной семье, дочь перепробовала все возможные занятия, включая и спорт, и музыкальную школу, и даже шахматную секцию, но остановила свой выбор на медицине, что интеллигентные и практичные родители, конечно, всячески поддерживали. И вдруг, отвернувшись от продуманной жизненной стратегии, она совершила первый — и как окажется потом, единственный свой безрассудный поступок: вместе с ним, Матвеем, уехала в Крым.

Они уехали без денег, без планов, без каких-то знакомых там — уехали летом да так и остались, пока не стало холодно. Бродили по городам, перемещались автостопом, ночевали на диких пляжах, лазали по горам, знакомились с местными — в общем, делали все то же самое, что тысячи тысяч молодых влюбленных. В Крыму чувствовалась жизнь — за ней туда и ехали из городов, где есть метро и где его только строят. То приключение оборвалось внезапно. Когда они оба очутились дома, ее родители знали, что делать, — в первую очередь постановили: «Ноги твоего Матвея здесь больше не будет, встречаться с Матвеем запрещено, забудь про своего Матвея». Других вариантов не было: в успешной семье всегда есть чем удерживать ребенка. Скитаться всю жизнь по горам, конечно, не входило в ее планы. Хотя сердце разрывалось от любви и боли, как положено в восемнадцать, но не разорвалось. Он звонил постоянно — ее родители орали и бросали трубку, даже пришли как-то раз к его родителям уговаривать: мол, успокойте сына. Приходил к подъезду, дежурил под дверью — но она каждый раз говорила: нельзя, не могу — и убегала. Сама же позвонила лишь однажды: сообщить, что поступает в медицинский. Как хотела.

А в следующий раз позвонил уже врач. Констатировавший смерть.

Он никогда не видел этого врача, не представлял, как тот выглядит, и помнил лишь имя — Семен Иванович. Врач сказал: травмы, не совместимые с жизнью. На похороны не пустили ее родители.

С тех пор Матвей Иванович и сам стал несовместим с жизнью. Краски мира начали выцветать, собственное творчество ушло окончательно, остатки желания изменить мир умерли. Дальнейшая жизнь проходила мимо. Даже повсеместное появление интернета, изменившее мир, не нашло в душе Матвея Ивановича отклика: в интернете ему ничего не было нужно. Как не было нужно и в жизни.

Все перестало существовать, кроме толстых журналов. И писем.

«Может быть, те авторы, в журналах, — они тоже пишут письма, а не повести, рассказы или что там они думают? Письма никуда. Просто чтобы справиться. А я и не знаю, я просто листаю, и все. Да и никто не знает». Иногда он думал, что мог бы издать журнал с таким названием — «Письма никуда», но дальше названия мысль никогда не шла, да и какой он издатель? Издатель — ведь это бог, а он кто, Матвей Иванович? Домосед и сотрудник архива.

Знаю я — ни строчки не придет,
Память больше не нужна.
По большому городу бредет
Тишина...

Обыкновенный день Матвея Ивановича, как и миллионов наших сограждан, начинался с будильника — и, как водится, кто-то с первыми звуками клянет тот день, когда родился, а кто-то подскакивает и бежит обливаться холодной водой. Матвей Иванович не делал ничего из этого, он предпочитал спокойно, не суетясь, строго по выработанной за долгие годы схеме, посещать сначала туалет, потом ванную, потом ставить чайник на плиту и приниматься за журнал. Но первым делом он, как и обе предыдущие категории людей, нажимал кнопку выключения будильника — и стоит ли уточнять здесь, что пользовался Матвей Иванович старым, пузатым, противно звенящим, игнорируя возможности мобильного телефона, а, может, и не подозревая о них. Мобильный телефон Матвею Ивановичу выдали на работе, чтобы найти его, если вдруг пропадет, — правда, пока что такого не случилось. Просыпался же он странным образом строго по будильнику, но не от звонка, просто время во сне и время в реальности хотя и текли по-разному, но почему-то всегда сходились в одной точке — когда нужно было вставать. Сон заканчивался, Матвей Иванович просыпался, и звенел будильник — так начиналось привычное утро.

По всем признакам и это очередное утро не должно было отличаться от других. Но, выйдя из ванной, где он тщательно почистил зубы, сполоснул лицо и вытряхнул из головы остатки мыслей о приснившемся, Матвей Иванович услышал в квартире голоса. Вначале не поверив, что такое возможно (таким уж он был человеком, что догадка о галлюцинациях показалась ему вернее всех прочих), преспокойно отправился на кухню, поставил чайник на огонь и, устроившись у окна, принялся читать журнал «Север». Этот журнал ему нравился. Здесь публиковали истории про людей и их простые житейские будни. Кто-то вернулся домой после долгого путешествия и шагает по родному городу, кто-то впервые влюбляется на районных соревнованиях, кто-то отправляется по реке на байдарках с друзьями детства. И все было так захватывающе, так любопытно написано! В «Севере» было все, чего ему, городскому — где есть метро — одинокому жителю, так не хватало, по чему он тосковал, смутно понимая, что и сам бы мог быть таким, повернись жизнь чуточку иначе. Публиковали здесь и сказки:

«— А что будет зимой? Зимой столы уберут в кафе, и никто к тебе не выйдет. Надо делать запасы, как все белки.

— Что такое зима? Что такое запасы?

— Разве ты не знаешь? Зимой с неба падает холодная белая крупа, мерзнут лапки, нельзя найти еду.

— ...Я родилась весной. Мои мама и папа тоже жили здесь. Но однажды их поймали и увезли. Сказали, что забирают в зоопарк. Может быть, скоро и меня заберут в зоопарк. Это будет замечательно!»

Он отложил журнал. Голоса не прекращались и даже, наоборот, как показались Матвею Ивановичу, зазвучали громче, словно зазывая его в комнату. Теперь он даже мог слышать отдельные слова:

— Проживающие... территории... охраняемой зоны... полным отсутствием... продуктовых, каких-то еще магазинов... не говоря о формах досуга... да вообще ничего нет... — последнюю фразу даже не сказали, а как-то отчаянно прокричали Матвею Ивановичу в самое ухо, и он не смог сдержаться, направился в комнату. Его новое предположение подтвердилось: в комнате работал телевизор. Удивившись и даже испугавшись — ведь он никогда не включал телевизор, считая его самым ненужным предметом в доме, и даже не протирал этот предмет от пыли, — Матвей Иванович тем не менее всмотрелся в экран. Судя по всему, шла самая обыкновенная программа новостей: в кадре звучали ор, ругань, истеричный ведущий чеканил слова, но слова все равно не чеканились, а налезали друг на друга, толкались, словно торопили своих соседей. Ведущая вращала глазами, постоянно дергала головой и чуть ли не плевалась с экрана — в лицо ему, Матвею Ивановичу. Выдержать такое, едва проснувшись, было тяжело.

«Господи, — морщась, думал Матвей Иванович. — Ну почему они не могут показывать просто обычных людей, которые просто что-то обыкновенно говорят, рассказывают? Почему они все время бегут, взмыленные, в панике, в истерике? Неужели им самим нравится так жить, работать?»

Инстинктивно он потянулся к телевизору, чтобы выключить и избавиться от головной боли, но почему-то происходящее на экране заинтересовало его. Матвей Иванович подумал, что ничего страшного не произойдет, если он потратит пару минут, пока греется чайник, на просмотр сюжета. Он присел.

— На самом деле, как удалось выяснить съемочной бригаде нашего телеканала, территория, на которой проживают все эти люди, только на бумаге считается особо охраняемой, — внизу экрана на пару секунд появилась надпись, из которой близорукий и медлительный Матвей Иванович понял, что журналистку зовут Кристина, фамилии он не разобрал. — Не охраняет ее никто, в том числе и те структуры, в чью непосредственную обязанность это входит, как, например, Федеральное Спеццохранагентство, к представителю которого мы и обратились за комментарием.

На экране появился тучный человек в потрепанном сером пальто, накинутом поверх костюма, мятой шляпе и с невнятным портфелем в руках. «Наша алкашня в таких портвейн носит», — вспомнил Матвей Иванович о своей работе. «Алкашня» была не из его отдела — хоть на том спасибо.

— Вы знаете, так скать, я должен обратить внимание все-таки, что ваша программа вот пригласила сюда нас... меня то есть... и должен доложить, что впечатление, конечно, удручающее. Ни дорог, ни инфраструктуры какой-то, ковши везде, брошенные экскаваторы, карьеры недорытые... Это всё — да. Но несколько домов, в которых герои вашей программы, так скать, живут, — они стоят, я сам в этом сегодня убедился, стоят и, знаете, не падают, хотя и выглядят, конечно же, не очень. Но вместе с тем должен отметить, что в понятие охраны в общем-то не входит строительство дорог каких-то, магазинов, освещение, да и сама, так скать, охрана этого объекта — она тоже не в нашей компетенции.

— Ну а кто должен этим заниматься, частное охранное предприятие? — возмущенно прервала журналистка и бросила взгляд в камеру.

— Я вам сообщу, — устало продолжил человек в шляпе, — что вы, журналисты, зачастую путаете ведомства, понятия не имея, кто и чем в них занимается. Вы думаете, люди там сидят глупее вас и ничего не делают. Наша задача по этому объекту, так скать, да как и по другим, — это обеспечивать его сохранность в первоизданном виде, не допускать никаких нарушений, а значит, и всяких построек, пристроек и прочих незаконных, так скать, действий.

— Так что же вы хотите сказать?! — ахнула журналистка. — Что из-за чьей-то глупости или по недосмотру эти несколько домов с живыми, между прочим, людьми, находящиеся на отшибе, почти за городской чертой, на существенном — я подчеркну — расстоянии от ближайшего микрорайона с его магазинами, детскими садами, поликлиниками, — оказались почему-то в списке территорий, представляющих особую ценность и особо охраняемых, стало быть?

А теперь из-за этого сомнительного статуса люди вынуждены жить в своих же домах на каком-то полулегальном положении, как в осажденном городе?

— Я понял ваш вопрос, — невозмутимо ответил человек. — Но прошу обратить внимание, что занесение какой-либо территории в реестр, основания для ее занесения в реестр — это все лежит вне рамок нашей компетенции, так сказать. Мы исполняем определенные предписания, смотрим, чтобы соблюдался порядок.

На этих словах журналистка Кристина не смогла сдерживать смех. «Какая-то она нервная», — отметил про себя Матвей Иванович.

— А как вот вам самому кажется, соблюдается ли здесь вообще какой-то порядок? Как вы думаете, на каком расстоянии от этой особо охраняемой территории находится ближайший фонарь? И представляете ли вы, что чувствуют одинокие люди, женщины, когда возвращаются сюда вечером за тридевять земель из магазина? Или гуляют с детишками — посреди всей этой грязи? Они устали здесь жить в таких условиях. Что вот вы им скажете, что посоветуете — как жить?

— Понимаете, — человек в шляпе кашлянул, — вы апеллируете сейчас не к моим должностным обязанностям. По вопросам правопорядка нужно обращаться в полицию или в те же частные охранные предприятия, о которых вы упомянули. Ну, пусть собак заводят — есть же псы большие, специальные. У меня вот...

Телевизионщики почему-то не дали договорить человеку в шляпе, картинка сменилась студией, в которой сидела, аккуратно сложив руки, молодая ухоженная женщина.

— Кристина, — обратилась она к девушке, бравшей интервью, — какова сейчас обстановка в микрорайоне? Не готовятся ли протесты? Проявляют ли жители какую-то гражданскую активность?

— Полина, вопрос поняла, — в кадре снова появилась девушка. — Пока что все спокойно, вот прямо сейчас жительница микрорайона готова в прямом эфире сказать свое мнение, прошу вас, — микрофон перешел к полноватой женщине лет пятидесяти. Получив возможность высказаться, она затараторила почему-то быстрее, чем ведущие.

— Жители заняты своими делами, и этих дел, понимаете, очень много, так что времени ни на какие акции просто нет. Тут бы до дома доползти, и, как говорится, без происшествий. Кстати, я бы не называла нас микрорайоном, наверное, все-таки, — она обратилась к Кристине. — Нас вот всего два двора да пара служебных зданий. И от этого еще обиднее — действительно, микрорайоны отстраиваются сегодня в рекордные сроки во всем городе, градоначальник не успевает ленточки перерезать, и огромные, надо сказать, районы. А до нас никому дела нет, на нас — никакого внимания. Здесь даже ни деревца нет — дышать нечем! Вот смотрите: всего-то надо — снять этот дурацкий статус закрытой территории...

По причинам, которых Матвей Иванович искренне не понял, женщине «из рода» тоже не дали договорить. Видимо, на ТВ теперь так принято, заключил он.

— Кстати говоря, собаки, о которых упомянул наш сегодняшний эксперт из Спецзонохраны, — вовсе не его глупая шутка. Достаточно осмотреться вокруг, — что и сделала камера, приглашая зрителя к тому же, — чтобы убедиться, что они здесь уже обжились и чувствуют себя вполне вольготно. Действительно, камера выхватила нескольких собак, лежащих возле подъезда или шатающихся по двору. Одна из них сидела прямо возле Кристины и внимательнейшим образом слушала репортаж. — Вот только комфортно ли жителям микрорайона от такого соседства — покажет, что называется, время. Которого осталось не так уж и много, чтобы сделать из этой забытой богом и властями территории современную комфортную городскую среду. Полина? — спросила она, поправляя наушник.

Картинка сменилась, и ухоженная женщина в студии предложила «перейти к другим новостям», поблагодарив Кристину за сюжет. Матвей Иванович

остолбенело сидел перед телевизором и уже не слышал дальнейших речей — он пытался вспомнить, почему «ящик» все-таки оказался включен, и не находил ответа. Ведь пульта управления к старой модели телевизора попросту не было, а поднимаясь с кровати или направляясь в ванную, он никак не мог задеть телевизор, поставленный — с глаз долой, из сердца вон — в дальний угол комнаты. Но куда сильнее его занимала внезапная, но твердая уверенность: он должен побывать в этой «особой зоне». Причем прямо сейчас.

Через несколько часов Матвей Иванович, человек, чья жизнь была распланирована по минутам, годами не нарушавший привычного маршрута дом — троллейбус — работа — троллейбус — дом — и видевший метро только во сне, — преодолел практически весь свой район (а непонятная территория находилась, как он понял, именно на отшибе района, в котором он жил, правда, весьма далеко от дома) и шел, глядя под ноги, из последних сил сопротивляясь встречному ветру и уворачиваясь от хлопьев снега и машин, что так и норовили обдать грязью с ног до головы. Впрочем, случись и такое, он не изменил бы своего решения — странного, принятого словно бы не им самим. Не повернул бы назад, не отправился бы домой или на работу. Он всеми клетками кожи чувствовал, что должен идти, и шел. Годами он с тем же чувством ходил на работу, но там было другое: он был уверен, что так надо в жизни, сейчас же он знал, что так надо ему. «Нужно узнать, что там, — колотилось в висках, и при каждом порыве ветер словно затихал. — Слишком странная история, даже для современного города. Для моего города».

В какой-то момент Матвей Иванович подумал, как было бы здорово прочитать об этой «зоне» где-нибудь в «Роман-газете», хотя за последние годы она и испортилась. Да выяснив, чем все закончится, спокойно закрыть журнал, переключиться на другие мысли. Но что-то подсказывало ему, что произведение, посвященное ей, если и будет написано, совсем не скоро появится в толстых журналах. Скорее всего, его никто не заметит, как не замечает никто «особо охраняемые зоны» с их проблемами, не замечает Матвея Ивановича с его письмами.

В этих раздумьях он и дошел до конечной станции местного автобуса. Каких-то опознавательных знаков не было, но улица заканчивалась разворотным кольцом, а за ним, впереди, открывалось снежное поле, казавшееся бесконечным. Где-то торчали редкие деревца, где-то виднелась теплотрасса — длинные трубы на толстых сваях тянулись непонятно куда. И совсем далеко, в пределе границ видимости Матвей Иванович увидел серые силуэты, похожие на жилые здания. За зданиями стоял сплошной стеной лес — города там уже не было. Город заканчивался здесь — в той точке, где стоял теперь Матвей Иванович. Он покрепче натянул шапку и поправил очки, собираясь с мыслями:

«Правда она была, Полина-Кристина эта, из телевизора. Одна дорога за хлебом здесь целую вечность займет», — его аж передернуло от холода и этой мысли. Желания идти вперед не было — ничего хотя бы похожего на дорогу Матвей Иванович не наблюдал. Предстояло преодолеть немалое расстояние по снежной пустыне. Вздохнув, он ступил на снег и сразу же провалился по колено. Но сделал еще один шаг, за ним — еще и еще. «Главное — не останавливаться», — решил он.

— Эй, — окрикнули Матвея Ивановича. Он обернулся и увидел автобус: водитель протирал зеркало. — Ты дурак? Или как?

— Не понял.

— Дурак, значит, — махнул рукой водитель.

Немногословный, Матвей Иванович и сейчас не захотел вступать в ненужный спор. Уверенными шагами он продвигался в глубь снежной пустыни. Временами на пути появлялись дорожки, протоптанные тропинки, которые обрывались так же неожиданно, как и начинались. Ноги Матвея Ивановича на них отдыхали, он удивлялся и шел дальше. Спустя какое-то время он забрел в гущу низких и голых кустов и, не в силах идти дальше, какое-то время просто лежал в полубеспамятстве.

Повернув голову, он увидел, что находится совсем недалеко от труб тепло-трассы: они вырывались прямо из-под земли, но, едва заявив о себе, принимали параллельную ей траекторию и больше не отклонялись — по крайней мере, в пределах видимости. Почему трубы появились именно здесь, было решительно непонятно. Может быть, они проходили несколько километров, может быть, больше, а затем — как часто бывает — вновь уходили под землю. Отдышавшись, Матвей Иванович прошел мимо труб и принялся месить снег дальше. Нещадно дул ветер, лишая чувствительности нос и щеки, все чаще встречались сугробы, из земли торчали странные железные прутья, и ему приходилось подниматься и вновь опускаться. Он тяжело вздыхал, но терпел, внимательно смотря под ноги в страхе споткнуться обо что-нибудь. В какой-то момент Матвей Иванович почувствовал подступающее отчаяние: усталость наваливалась на него тяжестью нескольких атмосфер, хотелось снова упасть, но уже — не вставая. Какой-то хрип вырвался из горла, и тут он внезапно понял, что прошел почти весь путь.

Он остановился и увидел прямо перед собой низкий металлический забор, вероятно, установленный здесь наспех, местами проеденный ржавчиной, местами сильно покосившийся, а некоторые фрагменты вообще отсутствовали. Судя по всему, забор стоял только оттого, что некому было его убрать, — Матвей Иванович вспомнил человека с портфелем из телевизора — никакой пользы от него не было и быть не могло. Жадно вдыхая ледяной воздух, Матвей Иванович изобразил какое-то подобие улыбки — он прошел тяжелый путь, преодолел испытание и теперь даже немного гордился собой. Перед ним высилось несколько девятиэтажек — оставалось только пройти за забор и обогнуть небольшой замерзший котлован. Судя по льду на поверхности, воды в нем было совсем немного. Возле котлована, как и показывали в программе новостей, стояла брошенная техника — несколько машин с большими ковшами.

Матвей Иванович в последний раз взглянул под ноги, перед тем как пройти за забор, и увидел собачьи следы. Вспомнил предупреждение журналистки и занервничал: страх перед собаками сидел глубоко в сознании, и изжить его было уже невозможно — так распорядился сам ход жизни много лет назад. Каждый раз, когда видел собаку, Матвей Иванович погружался в тягостные воспоминания — настолько далеко, куда не дотянуться, как ни старайся, чтобы хоть что-то изменить. И вновь писал свои письма, говорил с доктором из сна — но ничего не помогало. Встречая собак, он считал их знаком, которые посылает сама жизнь, — немым (а иногда и громко лающим) укором, напоминанием, что все могло быть иначе, если бы когда-то он, Матвей Иванович, дернул в жизни за другой рычаг, перевел ее на другие рельсы, а не рванул, как стало понятно с расстояния прожитого, стоп-кран. И если бы только для своей жизни...

Псы — а то, что это именно они, Матвей Иванович заключил, рассмотрев морды и крепкие тела животных, — гуляли за забором. Их было не так много, как пугала журналистка, но на то ж они и новости по главному каналу. Бояться псов не стоило: они смотрели на гостя «охраняемой зоны» хотя и с любопытством, но беззлобно. Оценив его, отворачивались и возвращались к своим делам. А из дел у них здесь было только праздное шатание вокруг карьера и между домами. Но, пройдя какое-то расстояние уже по территории «зоны», Матвей Иванович остановился и снова присмотрелся к псам: что-то в их поведениистораживало. Он не разбирался в собачьих породах, но не сказал бы, что хоть у одного из тех псов, что здесь бродили, вообще была какая-то порода. И тем не менее они были здоровыми на вид. При общем трагическом запустении, которое царило в этом месте и о котором чуть ли не вопила журналистка, это показалось странным. Еще сильнее удивило гостя то, что псы перемещались по территории не хаотично, а будто подчиняясь некоей внутренней организации: какие-то ходили парами, какие-то поодиночке, но все проделывали свой небольшой маршрут — например, огибали проржавевшую машину возле края карьера и возвращались снова к забору, другие убегали куда-то во двор, но затем неизменно возвращались, временами подбегали к Матвею Ивановичу, но не трогали его и даже не обнюхивали.

— У вас тут что, народный патруль? — сказал Матвей Иванович, но тут же махнул рукой: в конце концов, он разговаривает с собаками, разве это не странно? За этим ли он приехал сюда? Тем более что псы даже не лаяли, отказываясь вступать с гостем вообще хоть в какой-то контакт.

В ушах гудел ветер, и, как ни натягивал Матвей Иванович шапку, шум не стихал. Он поправил очки и осмотрелся: там, за домами, начинался непроходимый лес. «Вероятнее всего, псы живут там или хотя бы добывают пропитание, а иначе чем они вообще здесь живут?» — думал Матвей Иванович и тут же пытался успокоить себя: хватит уже думать о псах, не тронули сразу — значит, и дальше не тронут. Вообще, смешно, конечно, преодолеть такой путь ради того, чтоб тебя сожрали собаки. На другой стороне карьера также местами стоял забор, но большинство его звеньев упали под тяжестью снега, а за теми, что каким-то чудом уцелели, открывалось гигантское снежное поле, которому не было конца и края, — так сильно похожее на то, по которому только что шел сам Матвей Иванович. Но там хоть были трубы, сугробы, какие-то кустарники, а главное — виднелись вдалеке очертания огромного города — Города, где есть метро. Он посмотрел в ту сторону и содрогнулся, представив, как отправится тем же путем обратно. Но других вариантов не было.

«Кому и зачем понадобилось поставить здесь эти дома, на границе леса и ледяной пустоши? — думал Матвей Иванович. — Почему не на конечной автобуса, почему здесь? И что в этой территории, в конце концов, такого ценного? Бетонные многоэтажки — зачем охранять их и от кого?»

В какой-то момент Матвею Ивановичу стало не по себе: показалось, что он вообще находится не на Земле. Ощущение было таким диким, как никакое прежде в его небогатой на ощущения жизни. Но, осматриваясь по сторонам, он начал замечать людей, и это помогло прийти в себя. Хотя, конечно, Матвей Иванович не боялся людей так, как тех же псов, но не любил их определенно больше. И вот сейчас он, избегавший любого общества какими угодно способами, оказался среди людей, не имея возможности даже спрятаться, укрыться от них. Но стоит признать, что, сторонясь контактов с людьми, он все же любил наблюдать за ними, жалея, что невозможно стать совсем невидимым. Со стороны люди интересовали его, их слова, действия казались ему любопытными, он часто рассуждал про себя, почему люди говорят одно, а не другое, почему ведут себя в определенных ситуациях именно так, а не иначе. Нельзя сказать, что он делал какие выводы, скорее ему нравился сам процесс. Ведь в конце концов, и журналы-то, которые он читал, были тоже о людях, словах и поступках. Да и сами по большому счету были людьми, спроецированными на бумагу, — каким когда-то желал стать и сам Матвей Иванович.

Но люди, которых он видел сейчас, никуда спроецированы не были — одни перемещались по двору, другие прогуливались вдоль карьера. Правда, их было совсем немного.

— Что-то в этих людях не так, — подумал Матвей Иванович. — И перемещения их как-то странны.

Действительно, если в перемещениях псов присутствовала какая-то диковатая логика, то у людей Матвей Иванович не находил ее вообще. Вот те, что возле карьера, вроде прогуливаются, хотя молчат и смотрят перед собой, а те, что заходят во дворы, потом возвращаются, растерянно стоят на месте и снова отправляются обратно. Матвей Иванович заметил, что люди и животные никак не контактируют друг с другом, как будто и не знают друг о друге. Это было удивительно, и Матвей Иванович отправился к ближайшему двору, полагая, что сейчас все выяснит.

Интересно, будут ли люди говорить с ним?

Первый двор не представлял собой ничего особенного: просто четыре здания, образующие квадрат, а между ними — голая земля, кое-где стоящие полукругом скамейки. Неподалеку — какое-то подобие детской площадки: металлические трубы, торчащие из земли, — то ли недоделанные турники, то ли штанги футбольных ворот, каркас качелей, но без самих качелей, детская горка, почему-

то придвинутая вплотную к зданию трансформаторной будки, так что съезжать с нее можно было только одним способом — лбом об стену. На боковой стенке горки почему-то нарисован улыбающийся еж с большим яблоком на спине. От этой неожиданной картинки Матвею Ивановичу на миг стало теплее, он вспомянул открытку, которую вложил в свое последнее письмо, но затем снова содрогнулся: к чему здесь, почему эта картинка? Не потому ли, что он пришел, — для него?

Проходившие люди даже не смотрели на «гостя», хотя наверняка знали друг друга в лицо и легко вычисляли чужаков. Они были самыми обыкновенными — молодые и средних лет женщины в пуховиках, зимних сапогах, дети в теплых шапках с капюшонами, невзрачные, невыразительные мужчины. Какое-то чувство подсказывало Матвею Ивановичу, что и во втором дворе он увидит то же самое.

Правда, присутствовала еще одна деталь, и не заметить ее было невозможно: повсюду валялся мусор. Его здесь было столько, что и машинами, стоявшими у карьера, даже если бы они заработали, вовек не вывезти. Аккуратный и любивший все структурировать гость «особой зоны» пребывал в ужасе, и ужас этот с каждым шагом нарастал. Причем Матвей Иванович понимал, что ужас ему внушает именно этот мусор. Почему?

Он всматривался в тряпки, мешки, рваные пакеты, которые повсюду валялись на земле, а те, что полегче, — поднимал ветер, швыряя в лицо ему, и проходим, и пробегавшим по этому же мусору псам. Наблюдательный Матвей Иванович сразу отметил, что в мусоре нет бытовых отходов — предметов человеческой повседневной жизни. Зато в избытке были проржавевшие инструменты, листы железа, строительные смеси, какие-то тяжелые малопонятные конструкции, о назначении которых невозможно было догадаться. Везде валялись металлические прутья, какие-то огромных размеров болты, крепления, хватало и стекла — в основном битого, но местами целого и даже аккуратно сложенного стопками на больших поддонах, которых тоже было в избытке.

— Интересно тут у вас, — пробормотал Матвей Иванович. — А в новостях я ничего такого не заметил...

От раздумий его оторвал звонок. Телефон еще и резко завибрировал, заставив Матвея Ивановича подпрыгнуть на месте — так он испугался. Телефон не звонил последнюю тысячу лет, последние несколько его жизней, и сейчас Матвей Иванович совершенно четко понимал, что звонок тоже самым прямым образом связан с его пребыванием в этом таинственном месте. Он нажал кнопку приема, но ничего не сказал.

— Матвей, — затараторили в трубку. — Матвей, ничего не случилось? Куда ты пропал?

Лишь спустя несколько секунд звучания панического голоса в трубке Матвей Иванович понял, что звонит руководитель отдела, в котором он работал.

— А, слушаю, — пробормотал он в трубку.

— Матвей, ты первый раз в жизни опоздал. У тебя что-то случилось? Ты запил?

— Э-э... — поморщился Матвей Иванович. — Нет.

— Ну так а что случилось, скажи мне! — не унимался начальник. — Ты же не мог не выйти просто так?

— Это... — слова давались с большим трудом. — Виктор, так это вы?

— Ну, я, я! — раздраженно рывкнула трубка. — Ты в себе?

— Я в особой зоне.

— Где?!

— Вы не смотрели сегодня новости?

— А?! — крикнула трубка. — Там что-то сообщали о твоём опоздании?

— Виктор. Я не могу сейчас говорить: ветер.

— Ветер? Ветер у тебя в голове, похоже... Поселился. Он там и раньше всегда был, но на работу тебя задувал исправно.

— Да, — покорно ответил Матвей Иванович.

— Я надеюсь, ты выйдешь на работу, и мы как-то уладим все, — тон Виктора смягчился. — Видишь ли, двадцать лет ходил и не опаздывал... Что на тебя нашло?

— Часы тоже ходят и не опаздывают, — отрешенно проговорил Матвей Иванович.

— Ну вот... — Виктор растерялся, не зная, что сказать. — Ты приходи, я тебе батарейку-то вставлю...

Матвей Иванович сбросил вызов и положил телефон в карман. Разговор с начальником, конечно, не оставил его равнодушным. Он не любил доставлять людям неприятности, да и вообще обращать внимание людей на себя, а тут такое... не вышел в первый раз за двадцать лет или сколько там: больше! Ведь все сбегутся посмотреть, все обсуждать будут. А ведь что самое отвратительное — мысль отправиться с утра на работу к нему даже не приходила. Досмотрев телесюжет, он позавтракал, дочитал зимнюю сказку из «Севера», захлопнул журнал и пошел выяснять, где находится эта «особая зона». Был простой способ — позвонить на телевидение, но он, конечно, так поступать не стал, а пошел в районную администрацию, где долго изучал карты, сопоставлял обрывочные данные, полученные от «Полины-Кристины» из новостей, и догадался-таки, в каком направлении идти. Что удивительно, на картах никакой «особой зоны» вообще не было — улица, которая вскользь упоминалась в передаче, заканчивалась автобусной конечной, практически сразу же заканчивалась и карта. На все эти поиски, на пешую прогулку и преодоление снежных препятствий Матвей Иванович затратил полдня и только теперь начал замечать, как стремительно темнеет: зимние вечера наступают рано и быстро. Обычно, находясь на работе, Матвей Иванович не наблюдал этого, выходя из стен своего учреждения уже в ночь, теперь же ночь словно приходила специально к нему или, может быть, за ним, гладила холодной рукой по спине. Оглядываясь по сторонам, Матвей Иванович ощутил какое-то беспокойство, ему совсем не хотелось выбираться отсюда впопыхах.

«Зачем я сюда пришел?» — словно очнувшись после длительного гипноза, думал Матвей Иванович. Все вокруг было обыкновенным. Жизнь такая же, как и везде. Ну разве нет магазинов. Нет учреждений — но нужны ли они вообще на шесть (или сколько их здесь?) домов? Кучи мусора — но ведь как его вывезешь отсюда? Псы бродят — ну и что, ведь где люди, там и собаки. Была бы воля Матвея Ивановича, он запретил бы собак. Или отменил. Правда, как это сделать, он не знал. А так он много чего отменил бы... Смерть, например. Но он ничего не мог отменять, Матвей Иванович, и, как казалось, даже поход сюда не мог отменить. И теперь терзал себя: ну, живут люди, ходят, гуляют, всё как везде — ведь многие живут и в худших условиях, чем он увидел здесь. Никому из этих людей до него нет дела, никто его не звал сюда, никто не ждал. Неужели телевизор и впрямь так зомбирует, как говорят его коллеги? Но откуда они знают, если сами никогда не смотрят?

— Уходи, — шепнул в ухо ветер впечатлительному Матвею Ивановичу.

Он решил, что подумает над загадкой у себя дома. Да и вообще, ему вдруг резко захотелось в свою комнату, к лампе, к чашке горячего чая. Размешивать в ней сахар и открывать страницы нового журнала. Как раз «Звезда» должна была прийти — задерживалась почему-то. Вот только отдышится, ноги чуть-чуть отдохнут. Матвей Иванович присел на одну из обледеневших скамеек, встал, осмотрел остальные, но остальные ничем не отличались.

— Похоже, никто здесь не сидит, — решил Матвей Иванович, — я буду первым.

Он помнил с детства, что сидеть на холодном губительно для деторождения, да и вообще для удовольствия, но ни деторождения, ни удовольствия в том проявлении, которого мог лишиться холод, он в своем будущем давно не представлял. Внезапно Матвей Иванович обнаружил, что вокруг нет людей. Вдалеке он увидел пару силуэтов, спешно прячущихся в подъездах, одно за другим зажигались окна, и этих окон было столько, что при полном отсутствии фонарей двор не-

плохо освещался. И был совершенно пустым, несмотря на время, несмотря на детей, которых Матвей Иванович здесь не раз видел.

«В этом смысле здесь неплохо, — подумал Матвей Иванович, и тут же эту мысль сменила новая: — А что, если тоже скрыться? Заглянуть к ним в подъезды? Что там? А во второй двор? Нет, это место еще не до конца исследовано, чтобы так быстро уходить!»

Эта мысль подняла его с ледяной скамейки, Матвей Иванович поднес руки к лицу, чтоб обогреть дыханием, но тут случилась неожиданность: на него обрушился внезапный удар. Он пришелся как раз по рукам, и тут же, незамедлительно, за ним последовал другой — по лицу, причем настолько сильный, что Матвей Иванович, перелетев через скамейку и больно ударившись о нее спиной, приземлился в снег. Очки упали, но искать их в этой ситуации было бездумно. Матвей Иванович еще не понял, что же происходит, но решил, что и выяснять не стоит, — немедленно нужно бежать, любым способом. Он открыл глаза и увидел перед собой две фигуры — невысокого роста, в странных одеждах с большими капюшонами — почему-то красного и синего цветов, с полосками на рукавах. Разобрать что-то еще было невозможно. Матвея Ивановича охватила паника. Лежа на снегу, он начал пятиться, отталкиваясь руками и ногами, а нападавшие приближались, издавая какой-то рев. В руке у каждого была огромная бита — такие сотрудник архива видел только на картинках, мельком.

— Я здесь случайно, — залепетал Матвей Иванович. — Я посмотрел программу по телевизору, и вот...

Фигура в красном пнула его по согнутому колену, и Матвей Иванович взвыл. Внезапно он перестал видеть двор, горящие окна, черное небо с блестящей лунной монетой, нападавших. В сознании прорезалось море, такой же вечер, полутьма и дикое побережье Крыма, звон бьющегося стекла и крики, бесконечные крики вокруг. Он перевернулся на живот, корчась от боли, и прижал ладони к ушам, чтобы не слышать. Шапка слетела вместе с очками, — но голос, таинственный, странный голос звучал через все преграды, заглушая и ветер, и ужас, и бешеный рев врагов: «Не говори им ничего, не убеждай их, не оправдывайся, слышишь?» Повинуясь силе голоса, он резко вскочил и, сам от себя не ожидая, замахнулся, чтобы ударить первого, кто подойдет, — по носу, чтобы вырубить. «По носу бей, чтобы вырубить!» — кричал голос с моря. Но луна-монета уже качалась над шатающимся Матвеем Ивановичем, окна дребезжали и плясали в глазах, подпрыгивая, перескакивая друг через друга, и нахлынул ужас, первобытный, вселенский, космический ужас: у нападавших не было лиц. Напротив него стояли два костюма — пустых, накачанных воздухом, с битами в руках. И одна из этих бит уже обрушивалась на бок Матвея Ивановича, воздух внезапно перестал попадать в легкие. Он судорожно открывал и закрывал рот, будто рыба, но боли больше не было, не было даже слова, обозначающего боль, как и не было других слов во всем огромном мире. Кроме одного-единственного: «Жить».

Чтобы жить, нужно было бежать.

29 декабря

«Сердечная!

Пишу тебе снова, не могу найти места брэнному телу своему. Перед самым Новым годом начинают твориться чудеса. Но знаешь, совсем не такие, о которых я мечтал или в которых даже хотел бы признаться.

Я и рассказывать о них не хочу. Но в душе поселилось какое-то странное сматнение.

Ты помнишь, как я называл лисичкой тебя? Интересно, ты можешь ли — там — об этом вообще помнить? Эти «наши» слова, в которых плыла, бурлила, цвела наша жизнь, в которых мы вязли, как друг в друге, которые сцепляли нас. Да и сейчас невидимой нитью держат, не отпускают меня от тебя. Мне слишком

тяжело, когда какое-то из слов я слышу случайно, когда его кто-то роняет, как скомканную бумажку, а передо мной встает наша жизнь и ты, лисичка.

А теперь это слово — оно на глазах обесценивается, вроде такое безобидное, простое, но как его смеет говорить кто-то другой и кому-то другому? В глупых, пошлых обстоятельствах. Это все странный тип из сна, мой врач. Теперь случается такое, представляешь, что врачи приходят во сне — или ты приходишь к ним? Оно в такой ситуации и непонятно. При нас такого не было, конечно, тогда все было по-другому. Но знала бы ты вообще, как изменилась жизнь, какой она стала, и слова-то нет такого, сердечная!

Ты помнишь, ведь я никогда не болел — в наше время оно и не было странно, а сейчас это как будто достижение: ты не поверишь, все вокруг болеют, просто все. Работай и лечись — вот как бы в двух словах вся нынешняя жизнь теперь. А я за всю жизнь в поликлинике не был ни разу, о больницах лишь слышал или читал. Чем мне могла помочь медицина? Вернуть тебя оттуда, где ты есть? Такого она до сих пор не умеет, а было бы здорово, правда?

И вот появился мой врач во сне. Ты знаешь, поначалу это было очень странно, вот только сон повторялся снова, а потом вообще стал сниться регулярно.

Я знаю маршрут во сне — и я уверен, что никто такого маршрута не знает. Почему? Да потому, что его нет! И вот хожу, все хожу этим маршрутом, и он никогда не меняется — с него начинается сон. Я выхожу из метро, я знаю, куда повернуть, сколько пройти, чтобы попасть на нужную улицу и обнаружить тот дом. Ну, точнее, здание, где этот врач принимает. Ну и еще там врачи есть, наверное. Но мне нужен один.

Что главное, сердечная, так знаешь — я никогда не думал куда-то еще, ну, на другую сторону свернуть, на соседнюю улицу там или во двор. Как будто бы во сне мне это недоступно, закрыто от меня. И хочу иногда попробовать, но во сне не получается, во сне такого желания почему-то нет, оно всегда остается с этой стороны. Ну, то есть здесь, где я живу и мыслю. Мне очень странно, что снится эта дорога всегда, а не кабинет врача сразу, ведь в дороге этой нет смысла. Если б я мог с нее свернуть — то ладно, ну а так? И море проезжаю, всякий раз перед нужной станцией. Такие вот причуды сновидений.

Ты знаешь, я не рассказывал этого раньше, это сегодня я так взбудоражен, потому как что-то, чувствую, меняется, что-то происходит. Я скрывал от тебя этого врача во сне, и дорогу эту, и море — ну а что бы ты подумала, ведь это же странно все очень, о таких вещах не говорят вслух и тем более, наверное, не пишут. Представь, я книгу бы об этом написал, или рассказ в журнал какой-нибудь отправил. Вот бы позор был! Ну не идиот ли?

А для тебя — не знаю, ведь оттуда, наверное, мало что удивляет? У тебя ведь, наверное, вся жизнь (или не-жизнь) — удивление. Как бы хотелось мне, чтобы хотя бы там все было замечательно! Здесь тоже, конечно, неплохо. Но не одному. Не одному.

Вот этому врачу-то я и рассказываю про жизнь — ну, про то, что я ею называю. Про работу, там, конечно, про журналы, про письма вот эти вот тебе. Ну, ты же понимаешь, хоть и тайна личной переписки, но я ведь не знаю, прочтешь ли ты... а так читает хоть кто-то... Он говорит: нельзя так любить! А я всегда сразу серьезным таким становлюсь, меня это задевает: ну, Господи, думаю, что ж за люди! И говорю: в этом же весь смысл! Любить — есть ли другой способ познать вечность, хотя бы прикоснуться к ней? А доктор этот хохочет. Вот ты меня, наверное, понимаешь, уже теперь. А он... он никогда не поймет. Он земной — борода у него, пузо. Ну а ты ж неземная была. Он даже не умрет, ведь он мне просто снится.

Но каждый раз после такого «посещения» мне, знаешь, сердечная, как-то становится легче — я словно обновленный просыпаюсь. И хотя в окружающей меня реальности, да и в жизни моей ничего не меняется, но все-таки дышать каждый раз чуточку легче, и даже шаг потом становится бодрей, а мысли — немного светлее. Я, конечно, не понимаю природы сна, может, это получится разгадать там, у вас? Но я благодарен ему за то, что временами могу выговориться.

А когда сказать нечего — так я молчу. Молчать одному и молчать с кем-то — ощущения, знаешь, разные. Но даже этот врач из сна не знает, как ему быть. В последнее время, подозреваю, он стал терять ко мне интерес. А может, он просто боится? Слушай, я стал терять сознание там, во сне. Прихожу к врачу, говорим, и почему-то перед тем, как уходить, мне становится плохо. Падаю и забываюсь, причем это там, во сне, все внутри. Я никогда не прихожу в себя сразу здесь, в комнате. Это все странно. И происходит всякий раз в его кабинете. Не каждый врач такое потерпит, как тебе кажется? А что, если он меня «бросит» и перестанет снится? Ведь раньше я прощался с ним и просыпался, а теперь чего?

А теперь, я скажу тебе, там появилась девушка. Точнее, может быть, она там и была, но я ее не видел. У врача моего была медсестра, что ли, или помощница — сложно сказать, кто она там, но сидит в его кабинете. Правда, не всегда. Но, в общем, ее функция сводится к тому, чтобы сидеть. Но она не всегда сидит, вот, в прошлый раз я заходил... ну, то есть в прошлом сне — выходит, так — она не снилась. Такая, знаешь, совсем неприметная женщина. Измученная, в своих мыслях бытовых. Наверное. И какой ей смысл снится?

Но вот девушка — та, конечно, активней. Она молодая такая, смеется вовсю, постоянно хохочет, но между тем мне, знаешь, что-то предлагает. То между делом, намеками, а то и почти в открытую мне говорит: мол, ей хотелось бы что-то, какие-то виды там есть... На меня. Ну, не против, короче, она. Но она и с врачом, похоже, не против, и еще, наверное, с кем-то. А меня такой подход к делу не устраивает, ну, ты же помнишь... знаешь меня... тьфу ты!

Не думай, что я окончательно сбрендил здесь без тебя, хотя что я делаю? Женщину, которой нет на свете, прошу не ревновать к той, что во сне! Но я действительно... ни-ни. Я, как решил когда-то, буду тебе верен. Тебе — а значит, и себе. Откуда кому знать, что странно, что не странно? Я как точка, через которую проходят линии из каких-то других миров: в каком-то есть ты, в каком-то эта Варенька (ну, девушка) и врач, а в каком-то вообще сатанизм сплошной — ну, знаешь, я тебе все позже напишу, когда в себя приду, когда пойму, что происходит. А во мне эти миры все сходятся, ведь тот, в котором я на самом деле, он же пуст. Там я работаю и читаю, читаю и работаю, и вот, как видишь, еще пишу. Верю: ничего не может быть зря. Верю: если кто-то пишет — обязательно кто-то и прочитает. Мне хочется, чтобы это была ты.

Еще мне снится море... Только туда не попасть. Эти места так похожи на те, где мы были, на наш Крым, который был только у нас. Знаю, что никогда там не буду, хотя, наверное, мог бы поехать и даже, может, полететь, как все обычные люди, собирающиеся на отдых, в отпуск, — все чинно, все спокойно, друг за другом, день за днем. И я бы среди них — с каким-нибудь рюкзаком и с фотоаппаратом, в панаме. Ты представляешь меня таким? Я — не могу. Знаю, что приеду не туда, а в то место, по которому тоскую, в которое рвется душа. Нет дороги, как нет дороги к тебе. И каждый раз мне становится тревожно, как только вспоминаю, как на набережной зажигаются огни, как закатывается пылающий шар солнца, как перезревшее яблоко падает с ветки в море и наступает черная ночь, в которой скользит по волнам Луна — маленькая, далекая, и как мы, взявшись за руки, идем. Как перепрыгиваем огромные камни, смеемся, как забегаем в воду и долго шагаем вдоль берега. Как отплываем на какую-то скалу, окруженную морем, и любим, бесконечно, как это море, любим друг друга и ничего еще не знаем — ничто не предвещает беды. Волны бьются о скалу, неприступную, в такт нашим движениям, и, словно повинувшись ему, качаются на волнах лодки где-то вдаль, сверкая фонариками. И шепчу я: «Лисичка моя», схватив за руку, а ты плачешь, ты стонешь, смеешься, кричишь. Ты живешь. И живу я, и все вокруг живет нами, все дышит нами вокруг, все влюблено в нас, подчинено нам с тобой — только берег застыл, и мертвая, черная тишина ждет нашего возвращения. Мы лежим в беспмятстве, в изнеможении на спинах, раскинув руки, как маленькие морские звезды, и смотрим в небо, на звезды небесные, считаем их, рассуждаем о них, а они — наверное, о нас. И море вспыхивает миллиардами маленьких искр, а с небес срывается комета и стремится куда-то

к горизонту, и ты вскакиваешь и выкрикиваешь желание: быть всегда вместе, вместе, вместе! — и падаешь в воду, как и та комета где-то на горизонте, а меня обдаёт брызгами с ног до головы. И я смеюсь — представляешь, смеюсь! я! — и лечу, прижав к груди голову, и врезаюсь в море, ночное теплое море. И остаются какие-то считанные секунды счастья, крохотные, как те искорки на глади воды, — и не схватить их, не удержать — только запомнить. Только запомнить. Но я не знаю всего этого, я выплываю и кричу тебе: «Где ты, лисичка? Моя крымская лисичка! Ау!»

А ты рядом, обнимаешь меня сзади и шутливо пытаешься утопить:
— Вот тебе, вот тебе, вот тебе!

И мы плывем к берегу. Долго плывем к берегу. Бесконечно долго плывем.
Ты помнишь это?

Ты меня не ждешь давным-давно,
Нет к тебе путей-дорог.
Счастье у людей всего одно,
Только я его не уберег.

А ты все смеялась: какие же глупости! Нам, мол, нужна другая музыка. Да, ты права была: нам тогда была нужна другая музыка. Но мне сейчас другая музыка не нужна. Мне вообще не нужна больше музыка...

Я сегодня впервые сижу без журналов, и мне даже как-то странно смотреть на них. Я не знаю, что делать. Вчера добрался до дому, когда было уже сильно за полночь, и сразу повалился спать. Ничего не читал, представляешь? И сегодня не знаю, примусь ли. Как проснулся, решил написать — нет покоя, и тело болит. Исходя из всего, как выражаются на моей работе, вышеперечисленного, я, знаешь, чаще прихожу к такому выводу: кажется, мое сознание дает трещину. Что-то в нем становится не так. Вчера со мной случилось нечто совершенно странное. Чего случится просто не могло.

И я пойду сегодня это выяснять. Мне невозможно теперь жить спокойно — думаю, что, если не пойду туда, оно само придет за мной. Я должен просто понять, это все, чего я хочу, — чтобы жить наконец, как раньше, чтобы снова нормально жить. Ты только не волнуйся там обо мне, прошу тебя. Придет время — все расскажу тебе, сердечная, как все и всегда рассказываю о себе. Как рассказал про этого врача, про эту Вареньку, надеюсь, ты поймешь и не будешь думать дурного.

Готовишься ли ты к празднику? Ну а вдруг, мало ли? Ты не смейся, если что не так. Хороший праздник Новый год, вот только давит на меня, как будто кто-то огромный за спиной дышит, и с каждым днем его дыхание все тяжелее, а я сгибаюсь под ним и хочу убежать — и как будто не могу, как будто вязнут ноги, а следом немеет все тело. Такое ощущение, наверное, у мухи в паутине — вот так и одинокий человек перед Новым годом.

Мне врезалось в память, как недавно президент нас поздравлял, а я ж на Новый год-то телевизор все-таки включаю, но потом выключаю сразу после президента. Он поздравлял из далекого-далекого города, где нет и никогда не будет метро, но зато случилось страшное наводнение. Даже не в городе, а в целом регионе. Люди погибли, дома — много, конечно, горя, которое мне и не снилось. Уж лучше, конечно, быть одиноким и письма писать да во сне по врачам ходить. Мы-то с тобой такого не знали, не было такого, когда были мы. Ну ладно.

И вот он поздравил оттуда, стоял вместе с людьми этими там с бокалом шампанского, что ли. Было сильно. Люди в отчаянии, но люди празднуют. Мне президент тогда сказал о счастье. Все эти банальные речи я знаю, но здесь было другое. Я понял, что счастье — оно возможно только через отчаяние. И президент это отлично, кстати, понял. Чем-то простым людей нельзя объединить. Ну, как бы объяснить тебе, сердечная? Видимо, только потеряв все надежды, поняв, что твои мечты растоптаны, что ты за что-то боролся, к чему-то стремился — а это все было зря, — ты можешь вдруг стать счастливым. Все остальное — не

счастье, когда ты пришел и просто получил что-то, не заглянув перед этим в Бездну. Это — здорово, но это не счастье, это как у Вани Дурака: повезло. И так же точно «отвезет», такое сплошь и рядом. А выстраданное, выдержанное на последнем издыхании, изнеможении, иступлении, боли — это уже навсегда. Ты проходишь через это ощущение, проживаешь его полностью — и вот потом открывается дверь для счастья. Только оно может и не зайти, вот в чем фокус. Но дверца приоткрывается.

Это вообще наше, русское счастье такое — оно просто иным быть не может. Только достигнув пределов отчаяния, человек может стать счастливым. Счастье — это очищение и ничто другое: когда свет был белый не мил, так что выть, лезть на стену хотелось, когда было больно, нестерпимо больно, и вот наконец отпустило.

Ты можешь спросить: так если начинается горе, его тоже надо как начало счастья понимать? Отвечу: не знаю. Ну как я, проработав двадцать лет в пыли и бумажках, могу знать о том, на чем зиждется мир? Но думаю: да. Только это ожидание может быть очень, очень долгим. Порой мне кажется, что сам я глубины уже достиг, с другой стороны, думаю, все вроде нормально, жизнь как жизнь. А потом опять думаю: да, жизнь как жизнь, но не свидетельство ли это как раз того, что глубины-то и достиг? Иногда, впрочем, кажется: что ж мне не так-то всё, что сопли распустил какие-то, что ж не живется — просто, не дышится полной грудью, как люди живут, умеючи? Наверное, потому что жизнь мне испытаний-то никаких не давала, таких, чтобы пройти их, преодолеть. Жизнь мне вообще ничего не давала, кроме журналов. И может быть, сейчас-то она только начинается.

У нас внизу в подъезде поставили елку и даже нарядили ее — ватой, дождиком, игрушками, орехами. Настоящими орехами, представляешь? Никто не забирает, всем красиво, и я тоже, знаешь, захожу когда, то обязательно смотрю, останавливаюсь. Кто, интересно, наряжает такие елки в подъездах? Или одинокие люди, или счастливые пары — кому не хватает счастья или кто, напротив, хочет поделиться счастьем. Вот были бы мы — наверное, нарядили? А кто одинок — тот делится одиночеством. Я вот делюсь с тобой. Кто я? Разве несчастный? Одинокий — конечно, да. Но каким бы я был, если б не было тебя? Точнее — не было бы той тебя, которой нет. А была бы ты — другая, которая есть. Которая там, на скале, под звездами, которая — носом прижавшись к стеклу — ждет.

Или вообще бы не было тебя никогда. Ведь где-то это все существует — где-то ты, которая сейчас, которая покинула, ушла, а где-то ты, с которой плывем в море, чье имя шепчу крымской ночью, а где-то и ты, которая здесь сейчас — со мной. А я почему-то застрял тут, где я один и нет ничего больше.

Надеюсь написать тебе еще. Люблю. Люблю. Люблю».

Матвей Иванович никогда не подавал нищим. Не потому, конечно, что в его сердце не было места жалости или сопереживанию, а все по той же причине, по которой не встречал во все остальные людские дела, — не хотел привлекать к себе внимания. Он видел старух, которые стояли на коленях и демонстрировали — даже подчеркивали — крайнюю степень отчаяния. Он видел девушку без глаза — симпатичную, хорошенькую девушку, стоявшую в метро, — она наверняка приехала сюда из города, где его нет, и явно не так представляла себе здесь жизнь. Какие-то ценности, наверное, пришлось пересмотреть, думал, глядя на нее, Матвей Иванович. Но к девушке тоже не подходил. Безногим инвалидам в камуфляже, грязным цыганкам с куклами, завернутыми в тряпье, поющим народные песни тонкими голосками мальчикам тоже никогда не подавал. При появлении нищих он сразу хотел спрятаться, исчезнуть, чтобы его не заметили, не пристали к нему, — и это не была брезгливость, он не разделял нищих и остальных людей.

Но случались и исключения. Например, однажды недалеко от учреждения, куда он ежедневно отправлялся на работу, Матвей Иванович встретил высокого и статного человека в брюках, пиджаке и аккуратных очках. Если бы не протянутая рука и отстраненный взгляд, никогда бы не подумал, что в таком виде можно просить милостыню. Человек походил на профессора какого-нибудь института: на его лице был отпечаток многих знаний (которые, как нам известно, многие печали), а аккуратный костюм вовсе не производил впечатления старого, потрепанного, напротив — сидел блестяще на человеке. Повинуясь какому-то смутно осознаваемому, сиюминутному чувству, Матвей Иванович достал из кошелька денежную сумму, на которую сам смог бы прожить два дня, и вложил в руку человека. «Только не стойте здесь, — хотел он крикнуть ему в лицо, но промолчал. — Как вы можете здесь стоять в таком виде?» Человек с достоинством принял деньги, поблагодарив кивком головы.

Второй раз Матвей Иванович не смог сдержаться, когда увидел мужчину лет пятидесяти, игравшего на губной гармошке в подземном переходе. На листке бумаги, прижатом к грязному полу, было аккуратно выведено: «Зарабатываю на лечение жены». И вот это слово «зарабатываю» покорило сердце Матвея Ивановича, как покоряло, наверное, и других людей, — ведь как можно заработать губной гармошкой, да еще и на лечение, которое, должно быть, стоит бешеных денег? Но человек, игравший в переходе, улыбался, благодарил людей и, должно быть, сам верил в то, что именно зарабатывает. И жене говорил, приходя домой: сегодня, мол, заработал столько-то. И жена уважала его — наверняка и у нее тоже не возникало мысли, что муж ведь попросту попрошайничает. И Матвей Иванович в меру своих возможностей помог мужчине заработать.

Его раздражало, когда о нищенстве говорили как о профессии, пытаясь вычленив в нем какие-то «пиар-стратегии», рекламные ходы, трюки. «Всей этой гадости не было, когда были мы», — написал он однажды в своем письме. Но действовал-то Матвей Иванович согласно именно этому принципу, в чем вряд ли отличался от сограждан. Жизнь убеждала его своими бесхитростными примерами, что все правила работают сами по себе, а не потому что их устанавливают, поддерживают или игнорируют какие-то люди. Так или иначе, те нищие, которым удавалось «пробиться» к Матвею Ивановичу, растормошить его сонное сознание, всегда заставляли задуматься: «Люди живут ведь, живут... А что же я?» Но мысль быстро, словно комета, гасла, и он шел дальше по переходам, улицам, садился в троллейбус и ехал, охваченный безмыслием, столь привычным для дороги на работу и с работы.

Но таких нищих, как тот, которого увидел перед собой Матвей Иванович, подойдя к забору, ограждавшему «зону», он не встречал никогда. И лучше бы не встречал: в голове пробудились, как от спячки, панические мысли:

— И зачем я опять сюда потащился? — думал Матвей Иванович, словно бы это не он, дописав письмо, вышел из дома, прошагал, как вчера, через полрайона, а затем пробирался, чертыхаясь, по снежной пустыне с препятствиями, нещадно обдуваемый ветром. И вот только теперь, выдохнув после долгого пути, он наконец осознал, что проделал этот путь. И что, видимо, опять не окажется сегодня на работе.

Нищий сидел, прислонившись спиной к забору, отчего тот еще больше наклонился. Именно здесь, мимо забора, по всей видимости, возвращались жители домов из магазинов и других учреждений, которых в «зоне» не было. По крайней мере, других вариантов — на первый взгляд — не было. Но, посмотрев еще раз на попрошайку, Матвей Иванович вдруг неожиданно понял то, на что не обратил внимания вчера: дорога (пусть и условная) была, а вот людей — не было. Все жители перемещались внутри «зоны» и никуда не выходили по делам, как будто и дел никаких не имели. Косвенно подтверждала загадку и шапка, лежавшая перед нищим: она была пуста.

Но все эти мысли Матвей Иванович даже не успел как следует продумать: к горлу подступал ком от понимания чего-то еще более странного, что вообще было невозможно никак объяснить.

Это была его шапка в снегу — та самая, потерянная вчера, теплая, с большими ушами. И там, возле этой шапки, облокотившись на кусок забора, — сидел... он сам. «Но так не бывает», — сразу же сглотнул Матвей Иванович, решив, что от этой успокоительной мысли наваждение рассеется. Конечно, он не мог там сидеть — это был другой человек, но человек был похож на него, Матвея Ивановича. Похож до ошущения дрожи в коленях, до желания бежать куда повезет, не глядя. Но именно от такого чувства он оцепенел и не мог даже пошевелиться.

Попрошайка поднял взгляд, но Матвей Иванович не заинтересовал его, и он снова безразлично уставился куда-то вдаль. Ошибки быть не могло: нищий был даже одет почти так же, как он. Неприметные потрепанные ботинки, брючки, мешковатая куртка, спадающие с носа очки... Да и почему он решил, что это вообще нищий? Ах да, шапка! Или просто нищих видно сразу, независимо от того, как они одеты?

— Но что же тогда я сам? — вырвалось у Матвея Ивановича. Попрошайка не обратил внимания.

Вспомнив вчерашних нападавших, он сразу понял, что это какая-то новая дикая игра, в которую играет с ним странная реальность этого места. В том, что здесь всё совсем не так, как показывали в программе новостей, Матвей Иванович уже не сомневался. Да и была ли это настоящая программа новостей или какое-то мистическое видение, внезапно открывшее таинственный портал в царство мрака?

«Надо дать денег, — подумал он. — Это же и есть предсказуемый ход, которого от тебя ждут». Достал кошелек, вытащил несколько купюр и протянул их нищему. Тот протянул было руку навстречу, но она ослабла и как-то безжизненно повисла вдоль тела.

Матвей Иванович положил деньги в шапку, но попрошайка не поблагодарил, а только удивленно повернулся в его сторону.

— Так, — сказал Матвей Иванович, которому уже хотелось скорее пройти мимо нищего и забыть о нем, но он не мог, понимая, что должен что-то сделать, вот только что? Вспомнил, что в широком кармане куртки лежал свернутый в трубочку журнал «Октябрь» — сказала привычка брать с собой чтиво в дорогу на работу, а сейчас там как раз не был дочитан фрагмент из повести «Зона затопления» популярного писателя Сенчина. Других богатств у Матвея Ивановича просто не было, причем не только с собой, но и вообще. Но человек еще раз попытался протянуть руку — и на сей раз так же неудачно. Повинуясь странному импульсу, Матвей Иванович достал журнал и протянул сидящему. «Будет одной “зоной” меньше», — с некоторым облегчением подумал он.

— Ты дурак? — медленно спросил человек. — Или как?

Услышать такое от своего «двойника» Матвей Иванович не ожидал — он явно опешил и уронил журнал прямо на его колени. «И голос на мой как похож», — застучало в висках. «Двойник» вновь протянул руку, но на этот раз уже не надеялся на догадливость Матвея Ивановича.

— Встать, — слабым голосом произнес он. — Мне нужно просто встать, — и со злостью как будто столкнулся с собой журнал с «зоной». — Тяжелый, — зачем-то пояснил он. — С таким грузом не встанешь.

— Ах, да, конечно! — засуетился Матвей Иванович, зачем-то поправив очки (нашел дома старые, но и они сползали), и схватил человека за руку. Почему-то ему вспомнилась бабушка в троллейбусе. «Где ж таких берут, как ты?» — отдавался глухим эхом где-то на окраине сознания ее смешливый голос.

Человек поднялся и принялся отряхиваться, затем посмотрел на Матвея Ивановича, отчего тот снова судорожно сглотнул.

— Пока ты не встал, они так и будут... — сказал он.

— Кто они? — удивился Матвей Иванович.

— Ну они все, — «двойник» сделал широкий неопределенный жест, который никуда и не указывал, но Матвей Иванович взглянул на территорию «зоны», за остатки забора, и увидел гуляющих там, как и вчера, псов. — Чуешь?

Матвей Иванович испытал какую-то странную неприязнь к человеку, так похожему на него. Он сам никогда не выражался подобным образом: «чуешь», «дурак или как». Может быть, то, что этот человек так похож на него, — случайность? Ну, мало ли на свете похожих людей! Он посмотрел вслед попрошайке — тот шел почему-то не в сторону «зоны», а в Город — город, где есть метро.

— Там фонари легче, чем звезды. Там небо проникает в воздух, — напевал, пошатываясь, уходящий человек. Кажется, Матвей Иванович уже слышал эту мелодию, вот только слова были другими. Но вот где? Точно! Такую музыку слушали парни, сидевшие в его дворе и провожавшие его странным, тяжелым взглядом, пока он не скрывался в подьезде.

Пение совсем успокоило Матвея Ивановича — он никогда в жизни не пел, считая это занятие глупым и противоестественным. Он зашагал в сторону дворов, огибая все тот же замерзший карьер — со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось, — и постепенно забывал странную встречу. Его интересовал второй двор — поскольку в остальных местах этой маленькой «зоны» он уже побывал, но ничего похожего на разгадку так и не встретил. Жизнь вокруг совсем не отличалась от вчерашней: она не кипела и даже не вяло текла, а просто присутствовала каким-то фоном. Может быть, чтобы отвлечь от главного: для чего он здесь? Но Матвей Иванович, наученный вчерашним опытом, уже догадывался: вечером все переменится, поэтому оставаться можно только до тех пор, пока не стемнеет. Привычки носить часы у него не было, а о том, что время можно выставить на мобильном телефоне, он даже не подозревал. Матвей Иванович ориентировался на внутренние, биологические часы и понимал, что после долгого пути сюда времени у него оставалось немного.

Никаких изменений в первом дворе Матвей Иванович не заметил: все те же скамейки, возле которых на него вчера напали «дутые костюмы», все та же горка, упирающаяся в стену будки, те же кучи мусора вокруг. Воспоминания нахлынули, и Матвей Иванович содрогнулся: «Я ведь едва остался жив, и что? Сегодня я снова здесь?» Он никогда не смог бы подумать, что собственная безопасность так мало станет значить для него, и в первый раз в жизни ощущал, что ему-таки страшно, как редко когда было страшно, но что-то есть страшнее этого страха, какая-то огромная, в разы превышающая этот страх стена стоит над ним, и то, что за этой стеной, почему-то важнее, чем всё на свете. Он испуганно взглянул наверх — туда, где кончался высокий дом и летали маленькие, как точки, черные птицы. Голова закружилась, и Матвею Ивановичу показалось, что дом зашатался. Он быстро опустил взгляд и ускорил шаг.

Второй двор оказался точь-в-точь таким же, как первый. Дул ветер, швыряя в лицо старые и грязные пакеты, проходили люди, не говорившие ни слова — ни друг другу, ни ему, — слонялись вокруг, как будто без дела, псы. Единственным отличием этого двора от предыдущего оказалось низкое и длинное здание, сооруженное из каких-то недолговечных материалов и выглядевшее так, что было понятно издалека: делать там нечего. Именно поэтому Матвей Иванович, не особо раздумывая, отправился к этому зданию. По всей видимости, здесь подразумевался — а может, когда-то и был Дом быта, как называли такие учреждения во времена его молодости, или какое-нибудь полуофисное-полурыночное помещение. Сейчас оно находилось в запустении, и чем ближе подходил к нему Матвей Иванович, тем больше мусора встречал на своем пути. Перешагивая, а то и перепрыгивая мусор, он все-таки добрался до входа и проник внутрь: все равно в этом дворе, а значит, и во всей «особо охраняемой зоне» осматривать было больше нечего.

Увиденное внутри ничем не удивило Матвея Ивановича — он очутился среди перегородок, завалов мусора, странных металлических конструкций. Проглянув сквозь них, оказался возле проема, за которым открывалось огромное пустое пространство — его можно было бы назвать залом, например, но в понимании Матвея Ивановича залом могло быть что-то более уютное или хотя бы имеющее внятное предназначение. Впрочем, о предназначении этого помещения он смутно, но догадывался: как и у всего, что строилось в последние двад-

цать с чем-то лет, оно наверняка было торговым. Догадку подтверждало то, что территория вдоль правой и левой стен огромного зала была поделена на отсеки бетонными перегородками — по всей видимости, там предполагались магазинчики, — Матвей Иванович редко, но бывал в таких возле дома или здания архива, где работал. Теперь ему предстояло медленно пройти вдоль этих мертвых рядов и оказаться возле выхода из здания, только с другой стороны.

«Вот, собственно, и вся загадка», — недовольно хмыкнул Матвей Иванович. Его маленькое приключение, хотя и приобретало опасный характер, затягивало домоседа, архивиста и поглотителя толстых журналов с головой. Но отсутствие хоть какой-то зацепки, подсказки угнетало.

Он отер пот со лба и направился к выходу, прислушиваясь к звуку своих шагов: строительный мусор хрустел под ногами. Из щелей в стенах и крыше здания задувал ветер, временами под потолком слышался треск, и Матвей Иванович интуитивно нагибался, боясь, что очередная опасность свалится ему на голову уже в самом прямом смысле.

«Должно быть, его так и не построили, — думал Матвей Иванович. — Могли и разорить, но ведь никаких следов пребывания не осталось. Вот и ходят они за едой в город. Если вообще ходят... А то и питаются святым духом».

Внезапная мысль о святом духе заставила Матвея Ивановича взглянуть вверх, словно там, под потолком, он ожидал увидеть какую-нибудь древнюю фреску или того больше, материализовавшийся лик. Но увидел только то, что увидит каждый, кто из любопытства хотя бы однажды пробирался в заброшенный дом, — следы баллончика с краской: жирные линии, образующие непонятные слова и устрашающие знаки. В районной газете, которую иногда получал Матвей Иванович, такое называли вандализмом. «Подростки, оставляющие свои тайные метки, стали настоящей грозой района», — писал порой какой-нибудь смешной журналист. Сам Матвей Иванович по-своему воспринимал эти метки: ну, вот как пес метит территорию, например, — брызнул и пошел дальше. И мотивы, движущие подростками, думал он, наверняка те же, как и общий уровень мышления — вот только вони, в том числе и статей тех же — заметно больше. А ведь никто не пишет о псах, пометивших территорию. «Интересно, почему они сюда не зашли? — вспомнил он про журналисток Полину-Кристину. — Может, и мне сюда не надо?».

— Стоп! — внезапно сказал он громко. — А это у вас что, такой юмор?

И вправду, совпадение было странным: едва Матвей Иванович вспомнил о псах, которые метят территорию, как ему в глаза бросилось отчетливое и, надо сказать, вполне художественное (или нет? Разве можно говорить о них в подобных категориях?) изображение собачьей морды. Пес смотрел на него с потолка агрессивным взглядом и демонстрировал клыки, исчерченные какими-то бестолковыми линиями, которые наносились неведомыми «вандалами» похоже на свои же художества — не глядя. Рисунок напугал Матвея Ивановича, и он быстро отвел взгляд, но тот, предательски скользнув по стенам, внезапно наткнулся еще на одно изображение — черт, снова, злой пес! — и в панике, не всматриваясь, отскочив от него как мячик — на стену напротив, встретился с новой мордой.

— Боже, — выдохнул Матвей Иванович, хотя никогда не имел привычки поминать имя Господа. Собаки, а точнее это, конечно же, были псы — злые боевые псы, — смотрели на него со всех сторон, и гость — судя по всему, нежеланный — почувствовал себя в окружении. Но первая волна паники сошла, и он всмотрелся, насколько это было возможно в полутьме зала, в изображения: они не были штампованными, каждая новая морда, глядевшая на него со стены, была другой. Матвей Иванович не разбирался в породах бойцовых собак, как не разбирался в несметном количестве других вопросов, поэтому он мог лишь стоять, открыв рот, пока не вспомнил о том, что «зону» хорошо бы покинуть до темноты.

Перед самым выходом из здания он обратил внимание на узкий коридор, уводящий куда-то в темноту. Заколотилось сердце: «Ты уже узнал достаточно для од-

ного дня». А ноги словно сами направились к выходу, но Матвей Иванович вспомнил долгую дорогу, снежную пустыню и, вздохнув, остановился. Если уж судьба предложила ему темный коридор — что ж, значит, нужно отправиться туда.

Идти пришлось недолго — коридор оканчивался массивной дверью, которая выглядела не слишком реалистично в разрушенном, изрисованном и полном мусора здании. Матвей Иванович немедленно ощупал ее и убедился: это не навajдение, дверь действительно была. На уровне чуть ниже головы виднелся стикер — таких было полно в его архиве, особенно на лестницах: перечеркнутая сигарета в красном кружке. Мол, у нас не курят. Но здесь, похоже, речь шла не о курении: со стикера, как и в огромном зале, на него смотрела собачья морда.

— Бульдог какой-то, черт их дери, — выругался Матвей Иванович, вспомнив, что среди псов, которые гуляли по территории «зоны», он ни разу не видел бойцовых да и вообще породистых. Они были разных размеров, лохматые, гладкошерстные, многие напоминали овчарок, но только напоминали, а вообще же все, что мог бы сказать о них Матвей Иванович, да и любой другой человек: «Ну, псы как псы».

Но незванный гость «зоны» уже понимал, что псы здесь совсем не обычны. И если он развернется отсюда и уйдет навсегда, они лишь проводят его безразличным взглядом — точь-в-точь как провожали коллеги, когда видели Матвея Ивановича покидающим свое рабочее место или приходящим на него, что жизнь снова вернется в прежнее русло, и будут уют, свет лампы, журналы, будут письма, когда совсем неведомо, будет Новый год — одинокий праздник, будет врач во сне, будет недостижимый Крым, будет... Будет жизнь без разгадки: почему он однажды оказался здесь? Какое отношение он ко всему этому имел? Кроме того, что всегда боялся и недолюбливал собак — а теперь оказался, похоже, в их царстве. Но что за странная, невозможная по всем его понятиям о жизни сила была способна на такую иронию? И главное — какую цель она преследовала? Матвей Иванович схватил ручку двери и резко рванул на себя.

Его взору открылся маленький и светлый кабинет.

На окне (странно, здесь было окно!) — жалюзи, на потолке — пара длинных ламп, заливавших пространство холодным офисным светом и тревожно потрескивающих. Посреди кабинета — широкий стол и пепельница с недокуренной сигарой.

— Здесь кто-то был, — засуетился Матвей Иванович. Он рискнул сделать только один шаг внутрь кабинета, и тут его по-настоящему затрясло. Стены кабинета — по правую и левую сторону стола — были полностью, от потолка до пола, оклеены рисунками и фотографиями собак. Матвей Иванович всмотрелся в одну из стен и увидел скалящиеся морды в разных ракурсах, больших псов, готовящихся к прыжку, псов, вгрызающихся в огромный кусок мяса, наконец, псов, дерущихся друг с другом. Ни на одном изображении не было человека. Некоторые картинки, для которых, похоже, не хватало места, крепились обычными канцелярскими кнопками — поверх других. Но у неожиданного посетителя не было времени разглядывать их, он бросил взгляд на другую стену, и внезапная догадка поразила его. Забыв о приличиях — все-таки на работе он никогда не заходил в чужие кабинеты в отсутствие хозяев, — Матвей Иванович прошагал вдоль стены, пытаясь найти хоть одно изображение, которое опровергало бы его догадку. Но не нашел: на всех фотографиях этой стены были псы, которых он уже видел — во дворах, возле карьера, у входа в «Дом быта», — которые бродили повсюду в «зоне» и, как становилось ясно Матвею Ивановичу, были ее хозяевами. От такой ясности ему становилось не по себе, но еще больше напрягала мысль о времени, о том, что надо спешить. Он резко подошел к окну и отдернул жалюзи. Лицо скривилось в судорожной гримасе.

— Сумерки, — прошептал он и с досадой ударил себя по лбу. Матвей Иванович и сам понял это, но сейчас было не время рефлексировать, нужно было сваливать, он так и обозначил для себя ближайшую задачу: — Валить!

И тотчас вскрикнул. Матвей Иванович вообще никогда не кричал — так уж сложилось, что тот образ жизни, который он вел, совсем не располагал к силь-

ным проявлениям эмоций. Которых он не испытывал уже двадцать пять лет. Но было ли это важно сейчас, когда он сам едва не оглох от истерического, из самого нутра его вырвавшегося вопля ужаса, который отбросил его тело на стул — любезно выдвинутый кем-то, кто сидит в этом кабинете.

Но это была всего лишь собака — низенькая, рыжая, с крученым хвостом и острой мордой. Осознав всю глупость своего испуга, но еще не успев отойти от него, Матвей Иванович начал медленно подниматься со стула, стараясь приветственно улыбнуться собаке.

— Маленькая, — шептал он в тиши кабинета, нарушаемой лишь треском лампы. — Ма-аленькая, хорошая! Хорошая!

Животное смотрело на гостя выжидающе, с любопытством и удивлением, но не демонстрировало открытого дружелюбия, скорее наоборот — настороженность. Гость пытался обойти его, забалтывая, делая медленные, но частые шаги. Собака казалась бы совсем неприметной, взгляни на нее кто угодно, но Матвея Ивановича по мере того, как он рассматривал животное, охватывали странные воспоминания... Он был знаком с чувством дежавю, но нет, сейчас было что-то совсем другое. Это точно с ним было в жизни — точно такая же собака, предвестница беды. С нее ведь все начиналось — все здание жизни молодого еще Матвея, верившего, хотевшего изменить мир, влюбленного, наконец, начало рушиться после того, как был взорван фундамент, основа, и именно тогда — в тот день, точнее вечер, он встретился с собакой. Но с этой ли? А может быть, просто похожей? Некогда было думать, нужно бежать! Бежать!

Осознав, что какой бы ни была собака, но она вряд ли причинит ему вред, а вот торопиться нужно, потому что на улице стремительно темнело, Матвей Иванович подумал было взять и закрыться с собакой в этом кабинете или — чем черт не шутит — выставить ее вон и переждать, переночевать прямо здесь, на стуле или холодном полу, сорвав все эти жуткие фотографии со стен, и просто отдохнуть, забыться, ну а утром снова гулять здесь, наслаждаясь одиночеством среди людей и псин и загадывая загадку этого места. Но мысль не получила продолжения: собака зарычала. Оскалив клыки, она двинулась на Матвея Ивановича, и тот, оказавшись совсем рядом с выходом, выскочил, будто ошпаренный, и громко хлопнул дверью.

Все, что было дальше, происходило как в безумном сне, словно за несколько секунд. Выскочив из «Дома быта», Матвей Иванович понял, как жестоко просчитался со временем. Двор встретил его напряженной тишиной и горящими огоньками окон. Неподалеку перемещались темные силуэты, и поначалу непрощенный гость понадеялся на то, что это жители, спешащие к домам. Но он и сам понимал, что это не так. Вокруг бродили те же странные фигуры, что напали на него вчера, — широкие, приземистые, в капюшонах, скрывающих отсутствие — по крайней мере, видимое — человеческой головы.

— Как же вас много! — в страхе воскликнул Матвей Иванович. И не ошибся: силуэты перемещались разрозненно, по двое-трое, но таких «компаний» было много, и у большинства, как и вчера, были огромные биты. Он попытался — спрятаться снова в «Доме быта» казалось единственным решением. «Боже мой, если это такой гипноз, его, наверное, можно развеять как-то, усилием воли, силой мысли, чем?»

— Ведь не может же быть, — шептал он как заклинание, — не может быть людей без голов. Или это не люди? Или здесь проводятся какие-то чудовищные эксперименты? Что ж вы не сказали, Полина-Кристина, об этом?

В «Доме быта» наступил мрак. В черном небытие, словно в открытом космосе, Матвей Иванович боялся сделать следующий шаг, не зная, во что упрется, на что случайно наступит. «Наверное, мне конец», — прошептал он, и, словно в подтверждение этой догадки, получил удар в живот. По ощущениям несильный — просто резкий толчок, — но Матвей Иванович зашатался и еле устоял на ногах.

— Вы кто? Что вам надо? — спросил он как можно спокойнее, едва удерживаясь от крика: ведь иначе сбегутся все! Но ответа ждать не стал — впрочем, и

не надеялся, что кто-то, у кого нет головы, вступит в разговор. Из тьмы, прямо перед Матвеем Ивановичем, прояснялась фигура в капюшоне, и рука — была ли она там? — в дутом рукаве и перчатке рванулась вперед, чтобы схватить его. Но Матвей Иванович выскользнул и, не разбирая дороги, помчался во двор. Краем глаза увидел: его заметили, но не все фигуры, а только те, что находились ближе. Они замечают, только когда ты рядом, понял Матвей Иванович, осматриваясь в надежде найти место, где бы спрятаться. Но это ничего не меняло. В бою, каким бы он ни был, шансов у хилого мужчины сорока пяти лет из города, где есть метро, против превосходящей его сверхъестественной силы не было никаких.

«Подъезд! — эта мысль ослепила его своей ясностью и кристальной спасительной простотой. — Точно! Как можно было не додуматься раньше!»

Матвей Иванович совсем почему-то не сомневался, что здесь не будет никаких кодовых замков, домофонов и прочих достижений так называемой цивилизации — «особо охраняемая зона» разрушалась на глазах, беречь здесь было нечего. Преследователи, при всей их воинственности и мощи, не так уж и быстро бежали. Может быть, это просто не входило в их планы (или функции?), они просто шли за ним, демонстрируя неминуемость и неотвратимость того момента, когда все-таки настигнут. Но и сам Матвей Иванович, конечно, не так уж часто в жизни бегал — а точнее, никогда, — чтоб оказаться подготовленным к таким событиям. Подъезд мог стать спасением, но мог — и ловушкой, однако рассуждать было некогда: до выхода из «зоны» ему было не дотянуть, а если бы чудо и случилось — то увяз бы в снежной пустыне, и странные существа все равно бы настигли его.

«Что ж я за идиот, ведь знал!» — Матвей Иванович не мог успокоиться, укоряя себя. Уже приближаясь к подъезду, радостно выдохнул: оказалось, что здесь не было не только домофонов или кодовых замков, но и самих дверей. Но утешительная мысль вновь сменилась паникой: ведь он не сможет и закрыться изнутри, а значит, у него не так уж много шансов. «Ладно, думать буду потом», — решил он и скрылся в проеме. Преодолев этажа три просто на страхе, Матвей Иванович остановился.

«Нужно что-то делать, — билось сердце, — нужно что-то делать».

Он выглянул в маленькое окошко на лестничной клетке — странно, но оно не было остеклено, похоже, его даже и не планировали остеклять, — к его подъезду устремлялись все новые и новые темные фигуры, снизу послышался тяжелый и уверенный топот. Думать становилось все сложнее, дыхание сбивалось, Матвей Иванович почувствовал, что еще чуть-чуть, и он упадет замертво — сам, без всяких воинственных монстров, без всяких бит.

«Что за чушь? — рявкнул он сам на себя. — Соберись! Соберись хоть раз в жизни. Возможно, последний».

Снова выглянул в оконный проем и увидел асфальт, покрытый снегом, мусором и грязью: если он ничего не придумает в ближайшие секунды, то предстоит лежать там, распластанному, окровавленному, и последним, что он увидит, будут склонившиеся над ним пустые капюшоны. «Я прожил двадцать пять лет... Разве... — выдыхал Матвей Иванович. — Разве ожидая этого конца? Нет, — он упорно стучал ботинками по лестнице. — У всего должен быть смысл. Нельзя уйти, не поняв смысла, не разгадав».

Матвей Иванович и раньше был убежден, что жизнь не может оборваться сама по себе, она прекращается тогда, когда это необходимо, когда она логически завершена. И хотя многие тексты в тех же журналах регулярно убеждали его в обратном, Матвей Иванович упорно верил: прожитая жизнь — это законченный сюжет. Его нельзя оборвать на полуслове, нельзя, нельзя! «Мне казалось, я все прожил, все, что надо, узнал, но если эта история началась — она ведь должна закончиться», — шептал он себе, пока не понял, что поднялся уже высоко — этаж на шестой, наверное, — и все, впереди еще несколько пролетов, и остается крыша. Где он и встретит свой конец.

«Но как же квартиры? — в голове у Матвея Ивановича вспыхнуло пламя. — Ну конечно, квартиры!» В той жизни, другой, совершенно нереальной, недо-

ступной отсюда, из «зоны», он никогда бы не мог и помыслить, чтобы позвонить в чужую квартиру, побеспокоить людей, а сейчас все решил один импульс: «К черту! — и вот он уже барабанил руками по дверям, орал: — Впустите! Помогите же, откройте». И жал беспорядочно на все кнопки, которые видел, и снова орал, и снова стучал. «Все, — в безумстве внушал он себе — Тебя не пускают, а больше идей нет. Нет!».

Оставалось два этажа, и гулкая поступь молчаливых фигур в капюшонах гнала его вверх. Но он вдруг почувствовал, как трудно стало идти, как наливаются ноги чем-то тяжелым, как у одного философа, выпившего яда, — невпопад вспомнилось ему, — когда сначала отнимались ноги, потом руки, а после каменел и он сам — каменел, точно! Была еще легенда о том, как превращали человека в камень, — ему врезалось в память, как у того уже окаменело все, кроме головы, и несчастный стоял, убежденный в своей участи. Матвей Иванович вдруг вспомнил врача, его бородатое смеющееся лицо как будто на секунду возникло в густеющем воздухе и снова исчезло — а ведь тот предупреждал, предупреждал тогда, во сне!

Но к чему эти все воспоминания, к чему эти убийственные образы в голове, когда все вокруг наливается серым туманом, когда каждый шаг дается все сложнее, и, чтобы сделать его, приходится разгребать туман руками, а он все гуще, словно превращается в желе, он все тверже, он обволакивает руку, не дает ей двинуться, и на реальность приходится давить, чтобы она не застыла, похоронив в себе его, Матвея Ивановича, чтобы она поддалась. Давить с нечеловеческой силой, подвластной только обреченному, отчаявшемуся существу. Шаги становились все громче, а воздух вокруг — все темнее, и беглец уже ничего не думал, продолжая только идти, насколько хватало сил.

Когда Матвей Иванович уже был готов потерять сознание, зазвонил телефон. Инстинктивно потянул руку к карману и понял, что движение далось чуть легче. Все правильно, подумал он, движение за телефоном — это ведь движение назад. Чтобы подтвердить свою догадку, развернулся и спустился на ступеньку ниже — это получилось настолько легко и непринужденно, что тело само рванулось вниз, хотело бежать, обрадовавшись, видимо, свободе. Но Матвей Иванович твердо развернулся — фигурам в капюшонах оставалось преодолеть всего один этаж, и на этом конец сказочке. Он нажал на кнопку приема звонка.

— Матвей! — затараторили в трубке. — Матвей, что с тобой, ты куда пропал? Может быть, ты потрудишься объяснить, что происходит? Удостоишь честию руководителя отдела, а, Матвей?

— Я... — дрожащим голосом отвечал Матвей Иванович, и голос его дрожал, разумеется, не оттого, что звонил начальник. Он его толком и не слушал, потому что за спиной раздался собачий лай и послышалась характерная одышка — тот звук, когда собака, умотавшись от погони, высовывает язык и жадно, часто выдыхает и вдыхает, — его ни с чем не спутаешь. — Что за чертовщина?

— Матвей, — в трубке кашляли. Начальнику, похоже, стоило больших усилий воздержаться от ругательств. — Чертовщина — это то, что ты не появился на рабочем месте второй день подряд. И самое главное, я до сих пор не могу получить внятных объяснений. О чем ты вообще?

Прижав трубку ухом к плечу, Матвей Иванович продирался сквозь густеющий туман. Впереди оставался последний этаж — решающий. Жить или нет.

— Только бы не окаменеть...

— Матвей, — ответили в трубке. — Давай говорить серьезно! Ты знаешь, как я отношусь к тебе. И относился все годы. Но если ты завтра не явишься или хотя бы что-нибудь не объяснишь, тебе придется поговорить с Машиной.

В другое время от подобных слов душа Матвея Ивановича ушла бы в пятки, но сейчас он даже не заметил их, не понял.

— Будешь вакансии для бестолковых людей целыми днями листать, понял?

— Виктор, — сказал Матвей Иванович. — До свидания.

У него уже не оставалось почти никаких шансов. Закинув телефон в карман, Матвей Иванович рвался вперед, изо всех сил преодолевая сопротивление тумана.

на. Мир вокруг становился черным, как на экране его телевизора, если убрать контрастность. Он совершенно отчетливо понимал, что звонить в квартиры бесполезно, да и времени, чтобы дождаться ответа и уговорить впустить его, спасти, — этого времени уже нет. Он обречен, если только не чудо, если только не...

Он натолкнулся на дверь, почти ничего не видя. Дальше идти было некуда. Обернувшись, Матвей Иванович убедился, что и путь к отступлению отрезан. Черная фигура приближалась к нему, словно выплывая из адского тумана, и замахивалась битой, и ничего не оставалось делать, кроме как упасть бездыханным от ужаса, от разрыва сердца, от понимания прихода неизбежного. Ну, или...

«Бей!» — закричал в сознании отчаянный, изможденный женский голос, закричал откуда-то издалека и растекся по всей голове, как масло по сковородке или как звон от камня, попавшего в колокол, — был такой там, на берегу моря, — растекался по медной поверхности. И все существование сжалось в одну точку, у которой только два пути: растаять в бесконечной пустоте космоса или взорваться, порождая новые вселенные. «Ну, бей же!»

Матвей Иванович никогда, ни разу в жизни не бил человека. Не только человека — ни одно живое существо. Но жизнь, в которой так и не пришлось этого сделать, прощалась с ним прямо сейчас — прощалась без сантиментов, без объяснений — прощалась частым собачьим дыханием и занесенной битой. И сделать это сейчас — было единственным решением, которое могло — но совсем не гарантированно — эту жизнь продлить. «Как же чудовищно воняет псиной», — успел подумать Матвей Иванович. Сжав волю и руку в кулак, он резко выставил его вперед и со всей силы вмазал по пустоте, очерченной в черно-серой реальности границами капюшона.

Другой рукой он рванул ручку двери — ни на что не надеясь, просто так, инстинктивно, потому что нужно было что-то сделать. Он практически был уверен, что удар разъярит врага, а вот разъярит ли владельцев квартиры своим неожиданным вторжением — он совершенно не думал. Просто знал, что запретя в этой квартире — чего бы ему это ни стоило.

И дверь неожиданно поддалась.

Рука ощутила что-то мягкое и холодное. Разжав кулак, он схватил пустоту — нет, костюмы вовсе не были накачаны воздухом, это не куклы, не воздушные шары, это живые, настоящие убийцы! «Но кто же вы?» — подумал Матвей Иванович. Он уже и не ожидал, что сможет почувствовать больший ужас, чем тот, что только что пережил, но это случилось. Спина похолодела, ноги задрожали частой предательской дрожью, и словно какая-то неведомая сила внесла его тело в квартиру и спешно захлопнула дверь, закрывая все возможные засовы.

— Чертовы псы! — заорал Матвей Иванович, почувствовав себя в относительной, может быть, недолгой, но безопасности. Почувствовав себя живым. Рука как будто горела, не в силах забыть то, к чему ей пришлось только что прикоснуться: это была собачья морда, самая настоящая морда с раздувающимися от гнева ноздрями большого, холодного, мокрого носа, гладкой, короткой шерстью. Нет, это не могло быть ошибкой — Матвей Иванович не мог перепутать собачью морду ни с чем другим. Но как? Как? — задыхался он, стремительно сползая на пол.

— Ну вас всех к черту, — простонал он в изнеможении.

Псы, оставшиеся в подъезде, не предпринимали никаких действий. Но и не уходили — он не слышал шагов. «Спрятался? — Матвей Иванович не верил своему счастью. — Не может быть, конечно... Ну и история! В журнале "Новый мир" такого не напишут», — он усмехнулся. Что и говорить, в своем архиве за все двадцать пять лет не встречал ничего подобного, хотя через его руки проходило множество человеческих жизней, превратившихся в карточки с сухими строчками — «родился-жил-умер», а иногда и просто «родился-умер», без «жил».

Матвей Иванович забылся на какое-то время. Его уже не интересовало то, что он в чужой квартире, то, что за дверью его ждут боевые псы-убийцы — как их назвать еще, он не знал, — и что сегодняшняя ночь, скорее всего, пройдет в

этой «зоне», ведь вариантов выбраться до рассвета нет никаких. И то слава богу, что жив! Немного успокоившись, Матвей Иванович начал вспоминать о правилах поведения в обществе, а особенно — в чужой квартире, теперь, пока ему ничто не угрожало, проснулась совесть.

— Есть кто-нибудь? — прохрипел Матвей Иванович. — Вы извините, что я так... Сейчас я вам все объясню...

Он несколько раз пытался оттолкнуться от пола, чтобы подняться, но всякий раз неудачно. Ему было странно, конечно, отсутствие интереса к неожиданному гостю со стороны жильцов. Да и то, что люди не закрывают квартиры, когда вокруг разгуливают такие монстры... Но ведь и свет горит в коридоре — разве просто так? Правда, сил удивляться уже не было: кто знает, что ждало его впереди. Пока есть тишина — можно наслаждаться ею.

Матвей Иванович принялся осматривать квартиру и начал с кухни, где увидел в точности то, что ожидал: простые стулья, табуретка, стол с невзрачной скатертью, холодильник. Все это очень напоминало его собственную кухню, и Матвей Иванович не стал здесь задерживаться. Коридор был маленьким и узким — Матвей Иванович осмотрел внимательно тот угол, где приходил в себя, взглянул на дверь с опаской, рассмотрел тумбочку для обуви и вешалку: тоже ничего интересного. Вещей у хозяев, похоже, было немного. Гость сокрушенно покачал головой: уж на что маленьким ему казалось собственное жилище, но здесь все было еще хуже. «Правильно, — подумал он. — Ведь когда строили-то? Небось, уже в девяностых. Разве для людей хоть что-то в это время делали?» Затаив дыхание, Матвей Иванович прошел в комнату — она здесь была одна.

— Ну вот и все, — вздохнул он, никого не увидев. — Обыкновенное человеческое жилище.

И тут ему послышался какой-то шум, словно скрипнуло кресло, стоящее в углу комнаты, у окна. Матвей Иванович захотел подойти ближе, но затем решил, что в окно смотреть не станет.

— Ужасов на сегодня хватит, — вздохнул он и присел прямо на пол.

Логика была проста: как человек скромный и не желавший никого стеснять, да и вообще — контактировать с кем-то, он решил не пользоваться мебелью хозяев, ведь если они вернутся сейчас, придется объяснять не только то, как он здесь очутился и зачем, но и оправдываться за испачканный диван, кресло, стулья. Осмотрев себя, Матвей Иванович убедился: вся одежда была в грязи. Усталость брала свое, и Матвей Иванович прислонился к стене, тупо смотря впереди себя: в комнате тоже все было как у людей, как и у него дома, только разве что не было письменного стола — да ведь не все пишут. Обычная «стенка» с бутылками и бокалами за стеклом, диван с расправленным бельем, какая-то одежда на спинках стульев — все это мало интересовало. Тоску вызывало только одно — в квартире не было журналов. А чтобы успокоиться, забыться, для Матвея Ивановича не существовало лучшего средства. Он еще раз бросил взгляд по сторонам, скорее от нечего делать — не ожидал же он здесь всерьез увидеть подшивку «Знамени!» — и на этот раз взгляд все-таки нашел, за что зацепиться. На тумбочке возле дивана лежал какой-то журнал — по всему виду глянцевоый, никак не литературный, хотя и толстый. Журнал был сильно потрепанным и, судя по всему, очень старым, но Матвей Иванович ухватился за него как за спасительную соломинку — всего-то и потребовалось немного привстать и протянуть руку. Правда, и это оказалось настолько тяжело, что он заохал.

Журнал назывался «Счастье». Матвей Иванович криво усмехнулся, вспомнив, что видел такой в кабинете врача. То есть во сне. Выходит, он на самом деле существует? — эта мысль позабавила и даже придала немного сил, которые он решил потратить на то, чтобы рассмотреть журнал. С обложки на него смотрела симпатичная женщина с белозубой улыбкой, в шапке и варежках. Она лепила снеговика, точнее, просто стояла, на него облокотившись. Снеговик уже был слеплен на радость не только ей, но и мальчику, присевшему рядом, и мужу (по всей видимости), который постеснялся, наверное, заполнять собой кадр и выглядывал из-за спины счастливой женщины — Матвей Иванович увидел руку,

которой тот приобнимал жену (опять же по всей видимости), и, конечно, ярко, изо всех сил, улыбался.

Внимание Матвея Ивановича отвлек какой-то очередной шум в квартире — ему показалось, что звуки доносятся уже с дивана, но он не мог быть в этом уверен, как не мог быть уверен после того, что случилось, вообще ни в чем. Очевидно было одно: в квартире, кроме него, никто не находился. И вроде дверь закрыта на все замки. Правда, холодно, и очень сильно дует по ногам — вообще, откуда в квартире такой ветрище? Но что это все по сравнению с тем, чего он смог избежать, от чего здесь спрятался! И тем не менее Матвея Ивановича не покидало ощущение, будто кто-то наблюдает за ним. Кто-то еще незримо присутствует в квартире, хотя понять, где этот кто-то конкретно, в каком углу комнаты, например, было невозможно. Но этот некто, похоже, не был доволен гостем, хоть и открытой агрессии не проявлял.

— Никуда не уйду, — съезжился Матвей Иванович. — Пускай замерзну здесь, но не на съедение им...

Комната ответила ему очередным скрипом — то ли стула, то ли шкафчика. Был он одобрительным или сердитым? Похоже, что комната прислушалась и замолчала.

Ветер трепал страницы, но Матвей Иванович прижимал их пальцем и вчитывался, всматривался в картинки, и испытывал странное чувство, как будто делал что-то запретное, прикасался к неведомому. Со страниц журнала смотрели люди — причем смотрели именно на него, словно обращались к нему открытым взглядом, хотели что-то сказать, доверить. Они не были отстраненными, не были замкнутыми на себе — вот что особо бросилось в глаза Матвею Ивановичу, и он тоже всматривался в лица. Но проходило время, и он перелистывал страницу, словно бы так и не смог понять чего-то главного и сдавался, так и не поняв. Но нет, он только откладывал понимание. По опыту чтения толстых журналов знал: понимание никогда не приходит сразу.

Другого подхода к чтению Матвей Иванович не имел, как, впрочем, и другого опыта.

Журнал «Счастье» вообще давал много советов — к удивлению столь предвзятого читателя, как Матвей Иванович, совсем не о том, как что-то купить по дороге или подкрасить ресницы ярче. Много страниц было посвящено тому, как наладить отношения. Авторы не обращались к читателю пренебрежительно, не считали его дураком, но и не заискивали перед ним. Они просто и упрямо объясняли на пальцах, что и как делать — для тех, кто, конечно, хотел что-то делать. Какие-то их шутки не показались Матвею Ивановичу удачными, но шуток было не так много — отращения они не вызывали, глаза не мозолили. Несколько полос было отдано под разговор о мебели и интерьере — и вот что странно, опять не о том, где что купить, а о том, как создать домашний уют, чтоб приходиться домой было в радость — так и писали, прямым текстом. Прямолинейность вообще была стилем журнала, ключевой идеей: все объяснялось легко, непринужденно, без колебаний, сомнений — все нехитрые советы для людей журнал давал с такой уверенностью, что даже Матвею Ивановичу в какой-то момент стало сложно усомниться в том, что они действительно имеют право и авторитет объяснять людям, как им жить.

Психологическая страница называлась «Все хорошо». «Что у них может быть хорошо? Сами себя успокаивают, что ли?» — думал Матвей Иванович, но смутно понимал, что в своих догадках не прав. Правда, еще не знал почему.

Он перевернул еще одну страницу и прочел: «Силовые тренажеры». Здесь было больше картинок, чем слов. Матвей Иванович никогда не видел ни одного тренажера и разглядывал их с таким выражением лица, словно перед ним был репортаж о прилете инопланетян. Такие штуковины, писали в журнале, конечно, можно купить и себе домой, но есть способ проще — приобрести абонемент на фитнес. Вопрос «зачем все это нужно», похоже, автору и в голову прийти не мог — и правильно, неожиданно подумал Матвей Иванович, ведь что может сказать читателю сомневающийся автор? Подписи к картинкам поясняли,

сколько времени стоит проводить на конкретном тренажере, сколько отдыхать в паузах, как правильно подбирать и увеличивать вес.

Гороскоп Матвей Иванович пролистал, но затем все же не выдержал, вернулся и прочитал: «Вы будете преисполнены энтузиазма и с удовольствием возьметесь за дела, которые дают возможность быть на виду, участвовать в совещаниях, обсуждениях, презентациях». Хмыкнул, закрыл страницу, вернулся снова, дочитал: «Вы готовитесь наделать такого шума, что окружающим лучше бы запастись берушами. Сейчас вас удовлетворит только лучшее, и это отличная перемена после привычной вам сдержанности». Закрыл снова. Дальше шли дети, много детей, счастливые мамы, добрые радостные отцы, за ними появились фильмы, много фильмов — ни об одном Матвей Иванович не слышал, потому что вообще не смотрел кино. Завершался журнал творческой страницей. Увидев чьи-то стихи, подписанные женскими именами с указанием возраста, он сначала отшатнулся, но все равно делать было больше нечего — вчитался и в них. Стихов Матвей Иванович не любил, но все-таки встречал в журналах и терпеливо читал, вдумывался, пытался прочувствовать рифму, слог, образ. В том, что он видел перед глазами сейчас, ничего этого не было. Но странное чувство останавливало его от того, чтобы закрыть журнал. «Но ведь это творчество, человек творит, зачем-то делает это, — Матвея Ивановича удивляли собственные мысли. — А значит, это надо уважать».

«У всех людей разные наборы приемов, чтобы выразить терзания души, у кого-то они больше, у кого-то меньше — вот, собственно, и все», — подумал Матвей Иванович, отложив журнал. «Нельзя презирать человека за то, что он пользуется своим набором. Он делает это потому, что иначе не может, он действует по средствам, использует свой ресурс по максимуму. А все, кто использует по максимуму, предельно свой ресурс, — равны независимо от меры таланта, который им отведен». Литераторы, обосновавшиеся в тех, толстых журналах, подняли бы таких авторов на смех — ну и его заодно. Вспомнив об этом, Матвей Иванович захотел спешно отказаться от своих мыслей, забыть, как будто их и не было. Но тут же подумал другое: «Интересно».

И даже произнес вслух, словно обращаясь к неведомым богам-редакторам:

— Почему же никто из вас не придумал журнал «Счастье»? Не назвал свой журнал так? Ведь это же так просто.

«Может, потому, что счастья-то в вас мало?» — пришла в ответ внезапная догадка, и ноги, как в тех стихах, которые он только что прочитал, еще сильнее обдало холодным ветром.

30 декабря

Матвей Иванович не стал заранее готовиться к выходу. «Не буду смотреть ни на какое море. Что я не видел там? Я просто чертовски устал, и все».

В вагоне, как всегда, помимо него сидело несколько человек — он никогда не всматривался в них, они были ему неинтересны, а он — неинтересен им. Совсем как в «особой зоне», да что там в ней — во всей жизни в целом. Он вновь преодолевал долгий и странный маршрут для того, чтобы просто с кем-нибудь поговорить.

«Интересно, а если подойти к кому-нибудь из них, — вспомнил про пассажиров, — и что-нибудь у них спросить? Что-нибудь изменится?» Нет, убеждал себя Матвей Иванович, решительно ничего — ну, посмотрят как на барана, в лучшем случае вежливо пошлют. Все как полагается, все как надо. Завибрировал телефон в кармане, Матвей Иванович с раздражением достал его и открыл сообщение, как будто забыл, что всегда на этом отрезке пути его оповещает сотовый оператор. «Вы входите в Зону Полной Луны», — прочитал Матвей Иванович. Поезд выныривал из тоннеля, и какое-то время налитые силой зеленые ветви деревьев стучали по стенам вагона, словно встречая долгожданных гостей, а затем расступались, открывая взору море.

«Интересно, они вообще знают о том, где едут?» — зло думал Матвей Иванович о пассажирах. Кости ломило, он чувствовал боль и холод, бесконечную тяжесть во всех конечностях, но еще тяжелее было на душе. Врач, к которому он направлялся, конечно, посмеялся бы над таким определением, но Матвей Иванович, и сам понимая неточность, не знал, как иначе это назвать.

«Где ты еще увидишь все это? Ведь ты никогда не окажешься там», — эта тоскливая мысль заставила его подняться, справляясь со слабостью организма, и подойти к окну. По гладкой поверхности моря мчался скоростной прогулочный катер. Он был так близко к поезду, что можно было рассмотреть людей, которые расслабленно расположились на палубе, о чем-то беседовали, поворачивались и смотрели куда-то вдаль. Поезд, а уж тем более устало смотрящий в окно осунувшийся человек их совершенно не интересовали. Но сам катерок набирал скорость, казалось, что стоит чуть-чуть поднажать, и он вовсе обгонит поезд. Впрочем, скоро их пути разойдутся, но пройдет еще какое-то совсем небольшое время — когда человек, как замороженный, словно в забытьи, будет стоять, прижав руки к стеклу, и наблюдать, как рассекает воду красивый катер. На мгновение ему покажется, что он увидит там себя — только не нынешнего, а совсем забытого, далекого, счастливого себя из другого времени, из другого сна. На мгновение он услышит музыку — едва различимую, хрупкую, рассыпающуюся, как хрустальная ваза, музыку:

Ночью мне покоя не дает
Горькая моя вина.
Ночью за окном звенит, поет
Тишина...

«Нет, — подумает он. — Это невозможно. На катере наверняка играет другое. Конечно же, там играет совсем другое...»

А затем зашумят сложные механизмы под полом вагона, заскрипят колеса, и поезд, покачиваясь, развернется в сторону нового тоннеля. И на станции, куда он прибывает, будет опять зима.

Бородатый доктор на этот раз принимал не один. Помощница, про которую Матвей Иванович регулярно забывал, сидела за своим столом и копошилась в бумагах. Когда он вошел, женщина даже не подняла голову. Матвей Иванович не очень доверял ей и о многом говорить при ней стеснялся, однако попросить, чтобы врач принимал без нее, стеснялся еще сильнее. «Ну, сидит и сидит, — уговаривал он себя. — Она ведь неплохая, неприветливая — да, невзрачная — конечно, но не злая. И, в общем, это ее работа — сидеть здесь и что-то писать». Временами он подумывал еще, что она ведь, наверное, в кризисном возрасте. В кризисном — это примерно в том же, что и Матвей Иванович. Он понятия не имел, как женщины переживают кризисный возраст и что это вообще такое, но где-то о нем слышал и, разумеется, читал. Помощница очень редко встревала в их разговоры, поэтому собеседники часто забывали о ее присутствии. Но в последнее время о ее присутствии можно было забыть и не только поэтому. Все дело в том, что Матвей Иванович чаще встречал молодую Вареньку — она не сидела в кабинете, но заглядывала, и именно ее он видел после потери сознания, а не помощницу, как было бы логично, суетящейся возле койки, и к ней же доктор испытывал, как знал теперь Матвей Иванович, амурный интерес, — в то время как к помощнице, сидевшей скромной мышью в его тени, врач был как будто безразличен.

Но разбираться в чужих отношениях не хотелось — архивист хотя и по долгу службы иногда имел дело с чем-то личным, но никогда не испытывал к нему любопытства. В конце концов, в свете последних событий Матвей Иванович мог уверенно сказать, что ему хватает своих забот, — и это действительно было так.

Врач, как всегда, поспешил выразить бурную радость — он вскочил с места, тем более ничем особенным занят не был. Матвей Иванович вообще не помнил,

чтобы хоть раз оторвал врача от чего-нибудь важного. Доктор похлопал его по плечу и жестом предложил присесть. Кресло для пациента располагалось так, что с него можно было видеть и врача, и помощницу — та украдкой поглядывала на Матвея Ивановича, но мыслями была где-то совсем не здесь.

— А Варенька? — спросил Матвей Иванович. — Где же она?

Доктор кашлянул и почему-то посмотрел на него слегка раздраженным взглядом. Он уже откупоривал бутылку и наливал коньяк.

— Вы опять? — помощница посмотрела осуждающе.

— Не опять, — бойко ответил доктор, — а снова. До Нового года осталось всего ничего. Начинать уже можно. Чего и вам желаю, — он взглядом предложил помощнице присоединиться, та никак не отреагировала.

— Ну что же, — обратился он к Матвею Ивановичу, — вы опять ехали ко мне через Крым?

— Получается, так, — развел руками пациент.

— Ну да, было бы странно, если бы путь каждый раз менялся... Но мне интересно все-таки, вы помните какие-нибудь еще подробности?

— Это море, — ответил Матвей Иванович. — Там жизнь. Какие еще подробности?

— Ну да, и вас там нет... — задумался врач. — Вы знаете, эта тоска по морю — она обычная для всех людей. Просто все люди едут к морю. Берут и едут. Вот так и справляются, — он жизнеутверждающе улыбнулся.

— Я не тоскую, — произнес Матвей Иванович. — Я просто вижу из окна.

— А зря, — продолжил врач. — Я бы на вашем месте съездил. Да я и на своем бы... — он осекся.

— Я и так все хорошо помню. Понимаете, в чем разница? Мне не нужно куда ехать. У меня всё здесь, — он приложил палец к голове, — и здесь, — переместил его к сердцу. — Чтобы оказаться там, мне не нужно ничего делать.

— Так не бывает, — покачал головой врач и влил в себя коньяк из бокала.

— И я была там, — произнесла помощница тихо, и Матвей Иванович повернулся к ней.

— Там? — спросил он испуганно, показывая на сердце.

Врач смотрел заинтересованно.

— Я помню все эти тропинки у моря, — продолжала помощница, не обращая внимания на смешной жест пациента. — Фонарики, такие милые, лесенки, набережные какие — заглядение! — а цветов там знаете сколько! Никогда не увидишь столько цветов — все усыпано ими, а как эти сверчки по ночам поют! И улитки! У них там живут такие маленькие белые улитки, длинные такие, смешные, — она и сама рассмеялась на этих словах, но как-то безжизненно, и замолкла.

Матвей Иванович смотрел на нее с удивлением.

— И улитки там были, — пробормотал он смущенно. Его мысли были заняты другим: помощница бесцеремонно ворвалась на его территорию и вытащила — выудила оттуда улиток, которые были где-то на самом краю, почти потерянные, не извлекавшиеся много лет. Она зацепила его стройный и тихий мир за край, за дела, как говорят, за живое. Как ей это удалось? — Там были и большие улитки... они... — он подбирал слова. — Производили, в общем, впечатление... На нас.

— Производили, — почему-то кивнула помощница. Она снова становилась сухой и безразличной.

— У вас, я смотрю, появляются общие темы, — хохотнул врач, но сам понял, что произнес это неудачно.

— Я говорила и раньше, что бывала в Крыму, — пожала плечами помощница. — Это к вопросу о том, кто как запоминает...

Матвей Иванович ее больше не слушал. В его голове появилась странная мысль: «А если б моя лисичка была и сейчас, ей было бы примерно столько лет». Он присмотрелся к женщине в кабинете и пришел к выводу, что она иногда даже слегка напоминает ему ту, далекую... Возможно, типы лица у них схожие. Но эта — слишком уж замученная старая лиса.

«Господи, что за чушь мне приходит в голову? — он даже помотал головой, прогоняя неуютные мысли. — Это всё ее улитки».

— Но ничего, меня здесь скоро не будет, так что запоминать не обязательно, — похоже, помощницу зацепило похлеще, чем эти «улитки» Матвея Ивановича. И вправду, он совсем забыл, что она бывала в Крыму, но что ему с того, вот врач — так тот, наверное, должен помнить, как-никак, работают вместе.

— Я начинаю приходить к выводу, что вы похожи, — первым опомнился врач. — Не походить ли вам на мои приемы, как Матвей Иванович?

— Очень смешно! — огрызнулась та.

— Чего она так кипит, как думаете? — обратился врач к Матвею Ивановичу. — А видите ли, у нас тут реформа медицины. Как всегда, кстати! Но тут уж ничего не поделаешь, — он развел руками. — А потому моей коллеге придется нас покинуть... Куда вы, говорят, поедете?

— Не знаю, отправят в город, где нет метро. А может, и в городок какой. Там, говорят, в местных больницах никого не хватает, а здесь — понимаешь — в избытке всех. Либо уволят, либо — в городок. Потом отрапортуют, как у них все в медицине хорошо. Собаки, одним словом: отрывают у людей кусок последний.

Помощницу словно прорвало. Женщину можно было понять: получить перед Новым годом такой «сюрприз»! Но, услышав про собак, Матвей Иванович забыл о ее горестях — слишком свежи были его последние приключения. Почувствовав непреодолимое желание высказаться, он решил вывалить всю историю с походом в «особую зону», «Дом быта» и бегством от стаи безумных монстров. Но начал с того, как встретил человека, похожего на себя. Доктор не дал ему договорить:

— Подавая нищим, можно самому стать нищим, — сказал он.

— Я тоже не всем подаю, — пробубнил Матвей Иванович. — Но я, как бы сказать... Стараюсь мыслить сердцем.

— Мыслить сердцем? — переспросил врач. — Как по мне, так это просто смешно. Мыслить надо головой. Это вообще ваша беда, я думаю. Вы и журналы-то свои читаете, потому что мыслите сердцем, как вы изволили выразиться.

— Это, возможно, конечно, но... — пациент запутался. — Я так глубоко не уходил.

— А здесь не глубоко. Вы, должно быть, и не литературу любите вовсе, а сами эти журналы, процесс их получения, листания, чтения, в конце концов. Ну и себя в этом процессе. Вот что важно.

— Я, конечно, люблю сами журналы, — поспешил согласиться Матвей Иванович.

— Вы же и сами пишете, — наседал врач.

— Нет, что вы, — поспешил откреститься Матвей Иванович. — Ничего я не пишу.

— Ваши письма — которые вы пишете якобы для нее, — ответил врач. — Письма самому себе. Понимаете, все в жизни... вытекает из чего-нибудь другого. У всего есть последствия — для души, тем более неокрепшей. Вы не нашли ничего лучше, чем растратить себя по письмам. И от них, — врач поднялся из кресла и начал прохаживаться по кабинету, как будто действительно не на шутку взволновался, — вы становитесь всё слабее и слабее. Посмотрите на себя. Это как, извините, онанизм.

— Это грубо и цинично — говорить так, как вы, — ответил Матвей Иванович, из последних сил справляясь с головокружением. Странно, но даже в кабинете врача ему было страшно и неприятно признаваться в том, что ему вот-вот станет совсем плохо — обращать на себя внимание, обременять собой.

— Ну, врач — профессия такая! Да и зарплата соответствующая. Разве вы не знаете об этом из ваших журналов?

— Так про врачей нынче не пишут, — пожал плечами Матвей Иванович.

Доктор сел на место и замолчал, поглаживая бороду.

— Не пишут, — наконец произнес он. — Так вот в чем я несколько не сомневаюсь: чтоб хорошо лечить, врач должен быть злым. Вы вздумайте вообще:

а что плохого в том, чтоб дать свободу злему? Да, я называю это так — свобода злого. Чем больше в мире этой свободы, тем ему лучше. И тем лучше всем нам.

— Вы считаете, что в нашей стране недостаточно свободы злого? — усмехнулся Матвей Иванович.

— В нашей стране достаточно всего, — сказал врач. — Ее недостаточно в вас. Ее катастрофически недостаточно в вас, понимаете? — он придвинулся к Матвею Ивановичу и попытался заглянуть ему в глаза.

— Видите ли, доктор, — неуверенно произнес Матвей Иванович. — Я думаю, что люди — не собаки.

— Я думаю, что люди — псы, — спокойно, но твердо ответил врач. — Самые настоящие псы, и единственные справедливые отношения между людьми — это отношения свободных псов. Тебя растерзают, если не растерзаешь ты.

Матвея Ивановича передернуло, как только он заговорил о псах. Перед глазами запылали вспышки: оранжевая, фиолетовая, ярко-красная, мелькали изогнутые, ломаные линии, словно из чьей-то — явно нездоровой — кардиограммы. Он закрывал глаза, но помехи лишь усиливались, пятна плясали, приглашая и его к хороводу на краю пропасти, грани, отделяющий реальность кабинета и реальность не-существования, абсолютного забвения.

— Впрочем, вы не обязаны разделять такие взгляды, — добавил врач. — Вам главное их понимать — что они существуют и они действуют. Если понимаете — это хорошо. Не понимать, — он покачал головой, — нельзя.

— Доктор, — Матвей Иванович чувствовал, что от пропасти его отделяет какой-то шаг, и поспешил, затараторил: — Я ведь начал тогда говорить, но... Это странно, я знаю. В общем, я видел псов. Настоящих. Хотя, знаете, их настоящими не назовешь... Но они были.

— Говорите же быстрее, — почти закричал врач, чувствуя неладное. Краем глаза Матвей Иванович увидел его помощницу за столом, она все так же сидела и что-то строчила. Он выпалил, словно лопнувший пузырь, все, что происходило с ним в «особой зоне», казалось, уложившись в пару слов, а то и несколько нечленораздельных звуков. Его качало, и в какой-то миг Матвей Иванович обнаружил себя погруженным глубоко под воду, и толща, отделявшая его от спасительной поверхности, давила на голову, а запаса воздуха хватало только на один глоток. Где-то рядом всплывал, вырываясь со дна, из подводных камней, массивный стол, и врач давил на него изо всех сил руками, пытаясь удержать на месте, а помощница хватала в панике важные бланки с печатями, расплывающиеся на маленькие мокрые кусочки, и смешно выпускала пузыри. Расплывался мутным масляным пятном свет ее настольной лампы, и вот она сама уже, не в силах удержать себя на глубине, стремительной ракетой поднималась наверх, туда, где заканчивалась зона видимости Матвея Ивановича, и он беспомощно барахтался, разгребая руками водоросли и пытаясь оттолкнуться, чтобы тоже всплыть, но дно почему-то не отпускало его, словно он был житель глубины, словно именно здесь — его место, а не там, где ярко светит солнце, где не сжимает тисками голову, где воздух, воздух, воздух...

— Я вам скажу по-простому, чтоб вы поняли, — донесся до его сознания металлический голос — как будто с другого края трубы. Но никакой трубы не было, была лишь вода, которая стремительно темнела, поглощая всплывающий стол, масляное пятно лампы и смешно кружащую вокруг головы врача коньячную бутылку, и этот странный голос оставался единственной спасительной ниточкой, которая связывала гибнущего Матвея Ивановича с жизнью, но и она стремительно истончалась с каждым произнесенным словом. — То, что с вами произошло, наверное, свидетельствует о том, что вы близки к выздоровлению.

— От врача слышать странно, — не выдержал Матвей Иванович, но его слова лишь взбаламутили плотную воду десятками маленьких суевливых пузырьков.

— Врач лечит, понимаете: лечит, — голос самоустранился, но все еще был слышен. Матвей Иванович задергал руками в панике, как будто пытаясь поймать голос, словно рыбу за ускользящий хвост, — но много ли таких попыток

оканчивалось удачей? — Вы живете в своем герметичном вакууме, как молоко в пакете, у вас там белочки и ежики. И вы ничего не понимаете. Реальный мир совершенно другой. Реальный мир другой, — перед глазами Матвея Ивановича словно произошел какой-то подводный взрыв, забурлил, вырываясь наружу, прочь, на поверхность, огромный фонтан, и тяжелой ударной волной его отбросило с кресла, где он сидел, силясь справиться с наваждением, прямо к стене, и соприкосновения головы с холодным полом он уже не чувствовал, не знал, не понимал.

— А счастье — оно во всем вокруг, только нужно оглянуться и увидеть, как цветок: протянул руку, наклонил, понюхал.

Самый сказочный и небывалый,
Самый волшебный цветок.

Пение пробуждало к жизни. Где-то в безжизненном черном пространстве открывался маленький кружок зрения, и там, сфокусировав все усилия, собрав волю, в расплывчатой картинке можно было действительно увидеть цветок. Ощущения постепенно возвращались — приятная песенка становилась все громче и отчетливей, рука шевелилась, и слабые пальцы могли ощупывать тело. Слава богу, оно на месте, стало быть — жив! Жив! Почему это простейшее понимание — того, что ты живешь, существуешь, никогда не приносило радости? Ведь оно так же прекрасно, а то и прекраснее, чем волшебный цветок из песни.

Запахи тоже возвращались, не сказать больше — врывались, накатывали лавиной, правда, это были вовсе не запахи прекрасного цветка. В нос ударило нашатырем, Матвей Иванович, как мог, отшатнулся и больно ударился головой обо что-то твердое. Теперь зрение восстановилось полностью, и цветок, еле-еле заметный в маленьком кружочке, стал виден полностью: это была орхидея, стоявшая на подоконнике в маленьком кабинете. Сразу несколько бутонов готовилось расцвести — для цветка наступал самый главный момент если не короткой его жизни, то ближайшего года уж точно. В каком-то уральском толстом журнале Матвей Иванович читал, что орхидеи цветут раз в год, — кстати, больше из того номера он ничего не запомнил, да и журнал вскоре перестал существовать.

Тот цветок ищут многие люди,
Но находят, конечно, не все, —

пел нежный голос над головой Матвея Ивановича, и он, повернувшись, конечно же, увидел Вареньку.

— Как я здесь... — начал он, но девушка рассмеялась и приложила палец к его губам.

— Молчите, лучше молчите, — пропела она. — У вас это замечательно получается!

Повертев головой, Матвей Иванович понял, что опять лежит посреди маленького кабинета на каталке.

— Хорошо бы вы очнулись скорее, — причитала девушка.

— Я уже вроде очнулся. Вашими стараниями. — Варенька протирала ему мокрыми ватками лицо и виски. Похоже, при падении Матвей Иванович сильно ушиб голову. А может, это все после похода в «зону»?

— Нет, нет, что вы! Вам до этого еще далеко. — Девушка встала и начала осматриваться, ее лицо приобрело выражение крайней обеспокоенности.

— Что вы хотите сделать? — поинтересовался Матвей Иванович.

— Уколы, вам нужно, — ответила она и громко, отчаянно воскликнула: — Но здесь никого нет! А я ни шприца не вижу, ни лекарства. Когда вы теряете сознание, вас почему-то все бросают!

«Ну, как же можно быть такой эмоциональной, громкой! Это ж невыносимо», — зажмурился Матвей Иванович и тихо произнес в ответ:

— Кроме вас.

— Ах, иногда говорят так: «Влюблен до потери сознания», — зажурчала речь девушки. — И почему не говорят: после?

Матвей Иванович смутился. Он украдкой поглядывал на ее огромные, всегда широко открытые глаза — про такие глаза писатели непременно сочинили бы какую-нибудь пошлость, и в некоторых журналах ее даже пропустили бы — да, такие сейчас журналы.

— Почему вы заботитесь обо мне? — спросил он тихо.

— Я забочусь о каждом, кто нуждается в заботе, — пропела красавица. — А в заботе нуждается каждый.

Она наклонилась к нему и потянулась к его губам. Матвей Иванович рефлекторно отстранился, а затем поднял на нее удивленный взгляд:

— И что же, вы каждого готовы целовать?

— А что же, это плохо — целовать каждого, кто нуждается в поцелуе? — беззаботно ответила девушка.

Матвей Иванович продолжал украдкой ее изучать, избегая встречаться взглядами. На лисичку она была похожа лишь отдаленно, а скорее всего — и вовсе не была. Может, врач называл ее так, чтобы позлить его, намеренно? Он вспомнил про «свободу злого» — пожалуй, главную врачебную методику своего доктора. Если не единственную. Лечение, конечно, было странным, приходил к выводу Матвей Иванович. С другой стороны, что в его жизни теперь не было странным? Разве одно — то, что он до сих пор жив.

— Давайте я встану, — он попытался приподняться на локтях.

Матвей Иванович заметил, что девушка расстегнула верхние пуговицы халата. Она наклонилась над ним, и юные крепкие груди — такие даже не снились ему, а впрочем, ведь это же был сон, стало быть, снились! — открылись его взору совершенно беззастенчиво и дерзко, спутывая мысли, и как будто сами шептали ему какие-то безумные и бестолковые слова. Осознав, что происходит, он, как разряд тока, испытал ужас: со времен трагического прощания с возлюбленной его никто и никогда не пытался соблазнить. Матвей Иванович просто не знал, что делать в такой ситуации, — хотя в журналах подобным сценам отводилось много страниц, но именно на них, уставший после работы, он, как правило, засыпал.

— Лежите, — шепнула Варенька. — А хотите, я лягу с вами, и выключим свет? Доктор добрый, он ругаться не будет! Хотите, я встречу Новый год с вами, а? Будем желать друг другу нового счастья! Буду целовать, целовать, целовать вас! Зацеловывать! А вы — меня. Греть, обнимать, любить! Ну, что же вы?

— Подождите, — он решил придать официальный тон разговору и тем самым отгородиться от откровенности. — Варвара, как вас по отчеству?

— Алексеевна я, — разочарованно протянула девушка.

— Варвара Алексеевна, я всегда встречаю Новый год один. Такая у меня, если хотите, традиция. Да-да.

Он кашлянул в подтверждение.

— Ну вы дурак, — девушка надула губки и отстранилась от него. — Или как?

— Варвара Алексеевна, — виновато произнес Матвей Иванович. — Видите ли, я...

— Счастье же — вокруг! — чуть не расплакалась девушка. — Такое счастье повсюду среди нас, вот прямо здесь — в воздухе! В нас, между нами, — она снова закружилась по кабинету, словно танцевала. — Ну как же вы этого не чувствуете? Как не замечаете? А? — она склонила голову.

— Так, ну чего у нас тут? — Дверь распахнулась, и в кабинет, как и в прошлый раз, грузной тучей ворвался врач. Увидев его, Варенька вновь затрепетала. «Интересно, заметит меня?» — подумал Матвей Иванович с явным облегчением.

Врач остановился возле каталки и удивленно смотрел на Вареньку, словно пытаясь понять, что произошло.

— Несчастливым и бедным нужно сторониться друг друга, чтобы еще больше не заразиться, — монотонно произнес он. — Несчастье — заразительная болезнь. Лучше идите ко мне, Варенька...

Девушка послушно подошла к врачу, словно кошка, и прижалась к нему всем телом. Матвей Иванович снова заметил краем глаза ее грудь и потряс головой, словно желал, чтобы наваждение скорее растворилось.

— Ожидайте меня в кабинете, — понизил голос доктор, и Варенька, прошепав ему что-то на ухо, выпорхнула за дверь.

— Хорошая, правда? — повернулся доктор к Матвею Ивановичу. Тот неопределенно пожал плечами. — Молоденькая сестричка, из городка приехала, где совсем, — он изобразил трагическое выражение лица и даже как будто всплакнул, — совсем, представляете, нет метро. Девушка простая, но такая... мм, приятная!

Врач прошелся по кабинету, о чем-то задумавшись, и вдруг резко продолжил:

— А с такой ведь работать веселей, чем с утомленной жизнью женщиной... Так что Бездушная машина — она не такая уж и бездушная, — он заговорщически подмигнул Матвею Ивановичу. Но тот в свойственной ему манере даже не улыбнулся.

— А вы так думаете, что эта Варенька... ну, она с вами?..

— Так а чего тут думать? — расхохотался врач. — Тут не думать вообще-то надо. А делать!

— Ну так и вы... делаете? — неуверенно спросил пациент.

— Делаю, делаю, — ухмыльнулся врач. — И вам рекомендую.

— Но ведь она же... — похоже, Матвей Иванович сам не понимал, что хочет сказать. Мысли сплелись в прочный клубок и не желали распутываться. Его время подходило к концу.

— Варенька — это сама доброта... — мечтательно произнес врач, поглаживая бороду. — Вот только вы с ней зря так неласковы.

Пациент отшатнулся.

— Не любите вы жизнь, Матвей Иванович, — махнул рукой врач. — Тяжело с вами.

«А Варенька, конечно, зря к вам липнет...» — подумал, но промолчал Матвей Иванович. Ему было странно ощущать, что эта Варенька вообще появилась в его мыслях. Что именно о ней, странной большеглазой хохотушке, думал он сейчас, а вовсе не о своей Лисичке.

— Скоро все разрешится, — вырвал его из оцепенения врач. — Ступайте с богом, не беспокойтесь.

— Да, да, конечно, — засуетился Матвей Иванович, так и не поняв, что разрешится. — Вот только куда ступать?

— Как куда? — врач замаялся и неуверенно ткнул пальцем куда-то в потолок.

— Ну, давай уже! Вставай, невротик! Сколько мне еще с тобой возиться?

Матвей Иванович ощущал сильные тычки в бок — его тормозили, пытались перевернуть, чья-то крепкая рука несколько раз хватала за щеки и мотала его голову. Но, несмотря на все неудобства, Матвею Ивановичу стоило огромных сил открыть глаза — он чувствовал себя не просто уставшим, а убитым: все тело ныло, стонало, выкручивало, кости болели, к тому же, едва придя в сознание и начав хоть что-то понимать, он ощутил сильнейший холод.

— Что вы от меня хотите? — пробормотал Матвей Иванович, и тут же на него нахлынули, как из прорвавшейся дамбы, воспоминания о том, что он в чужой квартире, и то, чего он так и не дождался, уснул, наконец произошло: вернулись хозяева и обнаружили неожиданного гостя. Но вместе с тем он вспомнил

и про монстров, от которых удалось все-таки скрыться. И новая мысль придала ему сил и надежды.

«Жив! Жив!» — чуть ли не закричал Матвей Иванович, но, конечно же, мысленно, про себя.

— Вставай, скоро вечер, — пробурчал голос над ним, и Матвей Иванович наконец обратил внимание на источник неудобства. Им оказалась женщина в возрасте, чуть полноватая — она склонилась над ним, лежавшим на полу, и всячески тормошила его измученное тело. Но сознание уже вернулось к Матвею Ивановичу, а вместе с ним и угрызения совести: проникновение в чужое жилище, да еще под столь трудно объяснимым предлогом, — такого в его жизни еще не случилось.

Он вскочил, закричал, заохал:

— Я сейчас вам все объясню, конечно... Это недоразумение, дикое, надо сказать, недоразумение... — с этими словами он подбежал к окну — оно оказалось распахнутым настежь, и Матвея Иванович обдало холодным ветром. Матвей Иванович поморщился и чертыхнулся.

— Проветриваю, — усмехнулась женщина. — Только не прыгай, оно высоко здесь.

Матвей Иванович посмотрел на двор — впервые у него появилась возможность сделать это с такой высоты. Теперь он мог видеть все, но не увидел ничего нового: все тот же «Дом быта», будь он неладен, все тот же мусор, все те же не спешащие никуда, но в то же время зачем-то вышедшие на улицы люди. Ну и, конечно, псы — вначале Матвей Иванович не обратил на них внимания, но вспомнил вчерашнее, и ему вновь стало не по себе.

— У вас здесь что, культ собак? — он повернулся к женщине, забыв о намерениях долго извиняться. Ее лицо казалось ему очень знакомым.

— Культ собак? — рассмеялась она устало и не слишком весело. — Скажешь тоже... Разве такое бывает — культ собак? Ладно, на кухню пойдем. С наступающим, к стати!

Матвей Иванович увидел слева от себя, в углу комнаты, маленькую наряженную елку. Он был готов поклясться, что, когда засыпал, ее здесь не было. Но клясться здесь, похоже, было незачем.

— Все стонал-то во сне, будто тебя убивали, — причитала женщина. — С нервами, что ль, совсем худо?

— Вы извините, что я вас так побеспокоил, — Матвей Иванович отправился вслед за хозяйкой на кухню. — Со мной произошла такая ситуация, я даже не знаю, с чего начать, — он нервно засмеялся, представив, как будет сейчас рассказывать этой уставшей, по всей видимости одинокой женщине — кто знает, может быть, вернувшейся с ночной смены? — о том, как бегал от неведомых существ-невидимок с собачьими мордами под капюшоном.

— Не продолжай, — вздохнула она. — Я знаю, зачем ты здесь.

— То есть как?! — оторопел Матвей Иванович. — Я, если честно, и сам не знаю, для чего я здесь.

— Узнаешь, — ответила женщина безразлично. Матвей Иванович подумал, что раздражает ее своим присутствием и ему лучше бы скорее убраться.

— Поймите меня, пожалуйста, — продолжал он. — Если бы вы здесь были вчера, я бы объяснил сразу...

— А я была, — спокойно ответила женщина.

Она поставила перед ним чашку и налила в нее мутной горячей жидкости. «Как она догадалась, что я думал о чае? Да, впрочем, хоть бы о горячем кипятке», — подумал Матвей Иванович.

— Но как же... — начал он и тут же осознал: разговора с этой женщиной не получится. Все, что ему было нужно, это действительно просто согреться. Все остальное — лишнее. Усталость и боль в теле побеждали в нем все остальные желания, даже главное — разгадать, что происходит. «Как-нибудь сам», — подумал, отхлебывая горячей жидкости.

— Спасибо.

— Смотри, — женщина подошла к окну, и Матвей Иванович встал рядом с ней. Ему хотелось вновь спросить, почему же все окна в доме распахнуты, но не стал. Внезапно он почувствовал апатию и безразличие ко всему, что здесь происходит и будет еще происходить. «Ну и живите со своими открытыми окнами, с мусором этим и со своими псами, делайте что хотите». Он представил свою постель, лампу, тишину вечерней комнаты, вкусный — совсем не такой, как здесь, — чай на тумбочке. Сегодня должен был прийти новый журнал из города, где строят метро, а заодно и развивают «культурку». Матвей Иванович только начал его выписывать и, хотя не ожидал, что будет поражен содержанием, но тем не менее предвкушал как что-то новое в жизни, которого было так мало до этой встречи с «зоной». А он вот стоит возле окна с незнакомым и совершенно чужим человеком и занимается черт знает чем. «Нужно идти домой, хватит», — заключил про себя Матвей Иванович.

— Ты меня вообще слушаешь? — раздраженно спросила женщина.

— Конечно, конечно, — неуверенно произнес Матвей Иванович.

— Вам туда, — она показала пальцем в сторону дома напротив.

— Зачем?

— Не задавай дурацких вопросов. Тебе нужно в первый подъезд. Подымайся на пятый этаж, — она развернулась и вышла из кухни. — Чай допьешь и иди, — на ходу бросила женщина.

— С наступающим вас! — неловко улыбнулся ей вслед Матвей Иванович.

«Сюжет! Ну, конечно, сюжет по телевизору — вот где я ее видел», — догадался Матвей Иванович, снова подойдя к окну. «Жители заняты своими делами, и этих дел, понимаете, очень много, так что времени ни на какие акции просто нет», — прозвучал в голове ее голос. «Удивительно, как прочно врезается в память всякая ерунда из телевизора. И какими же делами здесь так заняты?»

Впрочем, дела местных жителей занимали его мысли недолго. Он всматривался в холодный двор и думал о том, что вот сейчас спустится вниз и выйдет туда, пересечет заваленное мусором пространство, обойдет — от греха подальше — заброшенный «Дом быта» и снова войдет в такой же подъезд. Он делает это несмотря на то, что домой хочется больше, несмотря на то, что пребывание здесь опасно, — несмотря на усталость и здравый смысл, просто потому, что такая возможность есть. А иначе он никогда не узнает, почему его отправила туда уставшая женщина. Приключение опять затягивалось, и главным было не задержаться здесь до темноты. Новая встреча с монстрами вряд ли закончится удачно, и шансов пережить следующую ночь будет, прямо сказать, мало. Матвей Иванович решил не терять время, двумя жадными глотками допил остывший чай и отправился к двери.

Женщина не вышла его провожать. Закрывать на замки здесь, похоже, не принято, понял Матвей Иванович, толкнув входную дверь. Тихонько прикрыл ее и стал спускаться по лестнице.

«Обычная лестница, обычный дом, — думал он. — все обычно». В этих коротких словах выражалось все, что он ценил в жизни, какой он хотел ее видеть и какой она — до поры до времени — и была.

Из подъезда вышел уверенно — невкусный чай согрел его и смягчил боль, зарядил энергией. Матвей Иванович понимал, что это ненадолго, но пока не встретился с новой тайной — этого ощущения хватит. Он оглянулся по сторонам и увидел псов.

— Ну что, — крикнул Матвей Иванович. — Ждете вечера?

Схватил с земли металлический прут и зачем-то стал размахивать им. Псы и не думали проявлять агрессию: лишь один посмотрел на него безразлично, остальные просто прошли мимо, словно бы его и не было.

— Не дождетесь! — Матвей Иванович старался говорить грозно, но получалось неубедительно. — Слышите, не дождетесь!

Он запустил прут в сторону псов, но тот оказался тяжелым и упал почти рядом с ним. «Может быть, взять с собой?» — остановился в раздумье Матвей Иванович. Конечно, он не был мастером драки и не имел даже смутного пред-

ставления, как обращаться с такими предметами в случае необходимости. Но понимал, что в споре с агрессивными сверхъестественными силами кусок металла вряд ли станет серьезным аргументом. Но логические рассуждения, как всегда, были отгеснены простым доводом: «На всякий случай».

Интеллигентного вида долговязый человек в очках, правда, грязный как черт, да еще с угрожающим прутом в руке, мог вызвать разный диапазон чувств у случайных людей — от смеха до ужаса и отвращения, но Матвея Ивановича не останавливало уже и это. Он видел, что людям до него нет никакого дела. Но при этом странным образом понял, что случайностей здесь нет. «Интересно, ведь я попал в квартиру случайно, загнанный псами, — он ухмыльнулся от собственного сравнения. — Это могла быть какая угодно другая квартира, куда я догадался бы вбежать — или просто вбежал в панике, не соображая. Но она — эта женщина — знала. Я оказался именно там. А что, если...» — тут он принялся гадать, отправили бы его другие жильцы по каким-нибудь другим адресам? Ведь для него это означало бесконечность блужданий по «зоне» в поисках разгадки — пока обстоятельства, словно квадраты в кубике Рубика, не выстроятся в единственно правильный ряд. «Но на это может не хватить жизни, — поразился он, представив множество вариантов. — а тем более если каждый вечер может стать последним». Но все-таки, стараясь успокоиться перед новой встречей с неизведанным, которая с каждым этажом становилась ближе, Матвей Иванович склонялся к предположению, что в любой другой квартире ему подсказали бы тот же адрес. А может быть, в другую квартиру он просто бы не попал — ведь и не пробовал. Размышляя над этим вопросом, он непрерывно хлюпал носом — похоже, начинался насморк, да и температура по всем ощущениям подскакивала. Матвей Иванович не был человеком, готовым к стольким потрясениям сразу. Впрочем, потрясения разве спрашивают, готов ты или не готов?

«Лучше б я носовой платок нашел, а не этот прут», — в сердцах подумал он и стал копаться в грязных карманах в поисках салфетки или куска бумаги, как и все рассеянные люди, всегда имея смутное представление о содержимом своих карманов. Идти на встречу к неизведанному с сопливым носом Матвею Ивановичу очень не хотелось.

Но, ковыряясь в карманах, он продолжал подниматься по лестнице и неожиданно для себя оказался на пятом этаже, о чем красноречиво сообщила жирная цифра «5» возле дверей лифта. Взгляд скользнул по стене вниз, к самому полу, и Матвей Иванович мгновенно забыл о салфетках — та его рука, что была свободна от тяжелого прута, прекратила копошение в карманах, шея изогнулась, все тело подалось вперед, и Матвей Иванович присел возле дверей лифта, словно сбитый с ног. Протянул руку к грязному полу и поднял маленький круглый предмет. На нем отражался солнечный свет из узких окон лестничной клетки, отчего на соседней стене плясали блики.

Предмет засверкал в руках, и в одной из десятков его неправильной формы граней Матвей Иванович увидел свое отражение.

«Но это же невозможно», — прошептал он.

Впрочем, за прут Матвей Иванович схватился еще крепче: неожиданная находка свидетельствовала о том, что теперь здесь в любой момент может произойти что угодно. Но, рассматривая ее, он все-таки на время забыл об опасности, расслабился. На ладони лежала елочная игрушка — обыкновенный серебряный шар. Шар этот не был цельным, его поверхность состояла из зеркальных прямоугольников, трапеций, шестиугольников и разных причудливых фигур, как мозаика. Все вместе они преломляли свет, и в солнечных лучах шарик засиял.

Матвей Иванович помнил этот шар очень хорошо и сейчас, узнав его, отправился в воспоминаниях в тот единственный Новый год, который они встретили вместе — двадцать пять лет назад. Его Лисичка тоже жила на пятом этаже, как и «моя любовь» из популярной тогда песни, которую любил вспоминать при случае молодой и счастливый Матвей. А может, и играла — в тот самый момент, когда, неудачно прицепив шарик к еловой ветке, он отпустил его и тот звон-

ко ударился об пол. Лицо девушки стало тревожным, она бросилась поднимать игрушку и облегченно выдохнула: «Не разбился!».

Матвей смотрел в ее глаза и улыбался — ведь он не хотел, чтобы разбился ее любимый шарик, — не хотел, конечно. На елке висело много шаров, а еще больше — лежало в открытых коробках, смиренно ожидая, на котором из них остановится выбор влюбленных. Этот шар не был самым красивым, не был и самым дорогим, правда, был единственным.

— Разобьешь мой шарик — убью! — улыбалась его Лисичка. Теперь она стала снова веселой — неприятность миновала, и все снова хорошо, и все так впредь и будет — непременно, обязательно! — только хорошо. Ведь любимый шарик не разбился.

— Какая ты у меня прекрасная, — невпопад сказал молодой Матвей, и девушка, смеясь, погрозила ему пальцем. Шарик отправился на елку и совсем скоро был позабыт. И если всмотреться в маленький пыльный шестиугольник или трапецию, разделенную надвое тонкой трещиной, то, наверное, можно увидеть их отражение — в ледяном зеркальном шаре пылала страсть, затихала нежность — ведь они наверняка помнят. Стоит только очень захотеть.

...Но Матвей Иванович повел себя по-другому. Он схватил шар, бросил на землю и, крича что-то неразборчивое, занес над ним тяжелый прут. И только в этот момент одумался — увидев лицо, искаженное бешенством, в маленьком зеркале. По этому лицу стекали слезы. Он подошел к стене и несколько раз ударился головой и потом сполз на пол, бессильный, безжизненный, и обхватил руками голову. Сквозь мутную пелену, застилавшую глаза, проступало отчетливое изображение: открытая дверь квартиры.

Он повернул голову и понял, что не ошибся. Другие двери были почти не видны, и он даже не пытался разглядывать их, но эту, открытую, видел ясно и теперь, кажется, начал догадываться, что предстоит испытание не из простых.

Матвей Иванович вытер слезы рукавом и снова схватил прут. Мысли, сомнения, страхи — сейчас все это будет только мешать, это может убить, не допустить что-то важное — пусть и пугающее. Необходимо было открыть эту дверь без раздумий и колебаний. Что он и сделал.

Квартира, куда попал Матвей Иванович, поразительно напоминала ту, в которой он проснулся, — и планировкой, и мебелью. Узкий коридор в сторону кухни, широкий — к комнате. Вдоль стен коридора — шкаф, маленькие тумбочки для обуви, вешалка для одежды. Эти же предметы были и в его квартире, присутствовали они и тогда, в далеких годах молодости, в квартире его любимой. Все они были если не одинаковыми, то очень похожими. Но странно! — они создавали уют. Простые квартирки, встреченные в «особой зоне», переносили его в то время, когда — как любил говорить Матвей Иванович — была жизнь.

Осматриваясь, он не увидел ни проводов от интернета, ни заряжающегося мобильного, ни модных ламп, ни натяжных потолков, ни теплых полов — и без них, в конце концов, было когда-то тепло. «Особая зона» словно переносила его совсем в другое измерение, где все эти вещи даже никогда не появлялись, — она поворачивалась к нему ласковой, доверительной стороной, она говорила с ним на его языке. И это очень остро почувствовал Матвей Иванович, еще сильнее сжав прут: уже знал, что доверять ей нельзя, что язык в любой момент сменится, и «зона» нанесет ему новый удар. Он ощутил дыхание «зоны», впитал его кожей и совершенно четко принял это знание: «зона» была живой. И что он сейчас, находясь в ее чреве, маленький измученный обычный человек, мог сделать? Ткнуть ее прутом? От одной этой мысли Матвею Ивановичу стало и страшно, и смешно. В любую секунду «зона» могла раздавить его, переварить, растворить в своем странном густом тумане или придумать еще миллион способов, как уничтожить его. Но она этого не делала, каждый раз оставляя шанс на продолжение.

«Почему? — вертелись мысли, словно шестеренки, цепляясь друг за друга. — Почему она этого не делает? Или, может, я это все придумал? Может, мне просто слишком страшно? — Он зажмурил глаза и обратился к мысленной «зоне», какой ее представлял — откуда-то с высоты, с покосившимся за-

бором, мертвым карьером, дворами, «Домом быта», людьми, псами, мусором, снегом.... — Может, мне просто слишком страшно, а?»

И «зона» ответила — коварным выпадом, ударом исподтишка, острым уколом в самое больное место. Ответила так, что Матвей Иванович пошатнулся, как после того первого удара у скамейки. Но на это новое нападение нельзя было ответить прутом. Перед Матвеем Ивановичем стояла фотография. Простая фотография в рамке.

Со снимка на Матвея Ивановича смотрел он сам — маленький, нескладный подросток с большими глазами — очки он тогда не носил — и непричесанными волосами. Он обнимал девушку в черном открытом купальнике, та всю улыбалась, и где-то над ней сияло огромное солнце, а прямо за ними — открывалось бездонное, бесконечное море, такое теплое и ласковое возле берега. Они спешили купаться, но их остановил пляжный фотограф. Это была настоящая фотокарточка — в отличие от того, что сейчас называют этим словом, — на твердой бумаге, с преобладающими синими и красными тонами. А ведь одному богу известно, сколько эта карточка стояла здесь! Она была вклеена, а не вставлена в рамку, но вклеена аккуратно и, видимо, на века: углы не отходили, как на старом фото возлюбленной, которое стояло у него в шкафу. Никаких волн и вздутий от клея, царапин, трещин от старости Матвей Иванович, присмотревшись, не заметил.

«Подготовленный» зеркальным шаром, он бы воспринял очередную находку спокойнее, если бы не помнил о ней главного: снимок был сделан в единственном экземпляре. Они заплатили фотографу какие-то символические деньги, и тот прислал им карточку почтой в их Город, где есть метро. Ну а дальше — его Лисичка, улыбаясь и целуя его в щеку, сообщила, что карточка, конечно же, останется у нее.

— Я ведь больше тебя люблю, — игриво сказала она.

— Нет, я тебя больше, — сурово произнес нескладный юноша Матвей. Ну, у нее, так у нее.

Тогда они еще не знали, что это их последняя встреча. Расставшись возле отделения почты, отправились домой — каждый к себе, с повинной: блудные дети. И сейчас, увидев фотографию, Матвей Иванович снова прожил — как он делал неоднократно за все эти годы — тот быстрый, обыденный миг расставания:

— Ну, пока?

— Пока!

И звенели в ушах трамваи, гудели автомобили, сливаясь с пением птиц и голосами людей, — шум города поглощал это чувство, трепетное чувство прощания с любимым человеком, и не оставлял ничего, кроме, может быть, грусти в глазах. Город жил, и их расставание в нем ничего не меняло, стоял полдень. Это ощущение, когда светит солнце, ездят машины и ходят люди, а ты, молодой человек без особых занятий и целей, отправляешься до боли, до ноющей где-то меж ребрами тоски знакомыми улицами домой и знаешь, что событий больше не предвидится, — это ощущение было не из приятных. Но даже тогда Матвей, конечно, не мог предположить, что событий больше не предвидится вообще. До тех самых пор, пока он не окажется в этом странном месте, грязный с ног до головы, с прутом в руках, напротив фотографии, полученной когда-то на почте.

В тот день у молодого Матвея были журналы, и он их читал до ночи, валяясь на диване, пока крутились стрелки — бешеная и поспокойнее — в механизме времени, тянущие, словно бурлаки баржу, из проступавшего в тумане будущего тяжкий груз трагических новостей. Эта почта работала без выходных, без перерывов, чтобы перевести дух. Человеку, десятилетиями цеплявшемуся за край жизни, чтоб не сорваться в бездну безумия, за тот солнечный полдень, жизнь оставляла единственный путь — в открытую комнату маленькой квартиры. И именно там должно сойтись все. После знаков, которые послала «зона» в виде шарика и фотокарточки, у Матвея Ивановича не было в этом сомнений. Главное — выдержать, столкнувшись с этим испытанием лицом к лицу.

Дверь в комнату была открыта, и он увидел все ту же «стенку», которая стояла и у него. На глянцевых массивных дверцах отражались разноцветные блики — фиолетовые, зеленые, красные. «Новогодняя елка», — подумал Матвей Иванович, и сердце забилось предательски, выдавая волнение такой силы, какого не испытывал, даже убегая от псов. Наверное, только однажды с ним случилось нечто подобное, черной крымской ночью, когда он вышел на берег, держа за руку свою любимую, и где-то рядом вспыхнул неожиданный тревожный огонек.

Только б мне тебя найти, найти,
Отыскать в любом краю,
Только бы сказать тебе «прости»,
Руку взять любимую твою.

Ветер времени, ветер отчаяния, ветер всех прожитых лет, исписанных строчек, прочитанных и аккуратно выставленных в длинные ряды журналов, выпитого чая, дорог на работу, с работы, пустых, одиноких часов, месяцев, лет — закружил его, подняв возле самой земли, во внезапно образовавшемся вихре — и внес в комнату.

Он ошибся. Новогодней елки в комнате не было. За окном в темневшем, но еще дневном небе проносились яркие всполохи всех возможных цветов. Матвей Иванович еще не видел такого в «зоне», он вообще никогда не встречал подобного и вряд ли понимал, как такое возможно, и что это — чудо? Природная аномалия? Предвестие конца света? Но он не смотрел, не удивлялся, не пытался понять — его это совершенно не интересовало, как не интересовало больше ничего на свете. На краешке заправленной постели, теребя в руках уголок покрывала, сидела она.

Его Лисичка, его возлюбленная — в комнате с белым потолком. Разноцветные пятна металась по нему цветомузыкой. Вот только музыки не было — и внезапно не стало даже слов. Они смотрели в глаза друг другу, застыв каждый на своем месте — как будто «морские фигуры», в которых играли — шутя — там, на берегу. Она была точно такой же, как в те солнечные дни, ну, может, немного повзрослела. Похорошела. Посерьезнела. А может быть, просто волнуется. Хотя... Вот уже ее лицо расплылось в улыбке, и казалось — Матвею Ивановичу казалось, что пол уйдет из-под ног, и он упадет в беспамятстве — то ли от счастья смотреть на эту улыбку, то ли от неверия в собственное счастье.

— Ну, чего стоишь? — рассмеялась девушка. — Первый шаг должен делать мужчина вообще-то.

Матвей Иванович смотрел на нее и сглатывал слюну — он словно онемел и в попытке произнести что-то, выдать из себя, наверное, был смешным. Но она смеялась не над ним, она смеялась с ним. И он тоже расхохотался — счастливым, залившимся, искренним смехом, какой возможен только от теплоты дорогого человека рядом или от доброй шутки — и не было в чистом звуке звонкого смеха ни сарказма, ни иронии, ни нервной дрожи, ни горечи — всего, чем обрастает с течением жизни, как камень мхом и ракушками, человек — пока его бьют волны, холодные волны.

— Ты здесь? — пробуждался голос, вырываясь из самого сердца стремительным ярким импульсом. — Ты здесь, моя родная? Я не могу поверить... Ты здесь!

Она поднялась с дивана:

— Мы не виделись двадцать пять лет, — изумленно произнесла она. — И ты пришел ко мне в гости... с железным прутом? Вот оно как повернулось, — все смеялась она.

— К черту прут! — Матвей Иванович даже не бросил, а просто выронил его из рук. — К черту все, если мы встретились!

Он поднял ее в воздух и долго кружил по комнате, улыбаясь, целуя в губы. Она была легкой и теплой, и нос ее был чуть-чуть влажным, как у кошки, — так

было всегда, когда она волновалась. «Ничего не изменилось! — пульсировала радость. — Ничего, ничего не изменилось, все по-прежнему». И только яркие всполохи всех возможных оттенков оттуда, из окна, отражались в ее глазах, бежали по лицу, по платью, скользили по стенам. Но она вырвалась из его объятий и щелкнула выключателем. По комнате разлился мягкий свет. Матвей Иванович подошел к окну и задернул шторы.

— Как ты здесь оказалась? — спросил он, когда девушка снова присела на кровать. Матвей Иванович заметил, что ее платье безнадежно испачкано, что она теперь грязная, как и он, но почему-то совсем этого не замечает.

— Я хочу, чтобы ты ни о чем не спрашивал, — произнесла она как можно серьезнее.

— Но это невозможно, — ответил Матвей Иванович, присев рядом.

— Не садись, — строго сказала она. — Здесь чисто.

— Ты... ты это серьезно?

— Да, конечно. Это же постель.

— А куда же мне присесть? — Матвей Иванович осмотрелся и увидел в углу комнаты кресло — такое же, как в квартире у той женщины, подсказавшей дорогу.

Он вспомнил ее и тут же подумал: непременно надо отблагодарить.

— Одна добрая женщина, — начал он, — подсказала мне дорогу.

— Я знаю, — с улыбкой ответила девушка. — Это я ее попросила.

— Все-то ты знаешь, Лисичка моя, — ласково сказал Матвей Иванович и устроился прямо на полу. — Не хочу далеко от тебя, — объяснил он.

— Тебе бы надо постираться, — озадаченно произнесла девушка. — Но у нас тут проблемы с водой, знаешь...

— У вас здесь вообще очень странно, — сказал он. — Да и вообще, все это странно.

— Чего же странного? — она развела руками. — Я здесь живу.

— Ты... ты совсем не изменилась, — не верил Матвей Иванович. — Тебе как будто двадцать три... Ты молодая! — он словно не мог свыкнуться с этим открытием, оно поражало, ошеломляло. — Да я ведь никогда и не представлял тебя иначе. Ты такая красавица!

— Ладно тебе, — девушка изобразила смущение, но, конечно, ей было приятно. Однако она не стала говорить Матвею Ивановичу о том, как выглядит он.

«Наверное, невыигрышная тема», — подумал, но все же чуть расстроился, ожидая, что его Лисичка скажет что-нибудь хорошее.

— Так ты не погибла тогда?

Она покачала головой, но ничего не ответила.

— Как ты здесь живешь столько лет? — недоумевал Матвей Иванович. Волна радости отхлынула, и он принялся перебирать мокрые камни вопросов, как делал когда-то, пытаясь найти счастливый, с дыркой. Но все были холодными, твердыми, серыми. Они отталкивали своей очевидностью, своей однозначностью и прямой, которых не хотел замечать Матвей Иванович, отгоняя — пока сил хватало — от себя. — Почему ты не сообщила о себе? Ни разу не сообщила о себе. За двадцать-пять-лет, — в его голосе впервые, помимо воли, проскользнула обида.

Она резко повернулась к нему и выпалила:

— И ты никого не встретил?

— В смысле? — Матвей Иванович не ожидал такого вопроса.

— Никого не нашел себе? За все двадцать-пять-лет?

— Ты что, меня передразниваешь? — рассмеялся Матвей Иванович.

— Нет, ухожу от ответа, — честно сказала она. — Правда, не знаю, что тебе сказать. Я живу здесь. Вроде всё.

— Ты... — Матвей Иванович долго не решался задать этот вопрос, но теперь почему-то решил, что время пришло: — Ты настоящая?

— Ну и как мне тебе ответить? — она с укоризной смотрела ему в глаза, и Матвею Ивановичу стало не по себе.

— Прости, мне сложно так взять и во все это сразу поверить... Столько всего произошло... А вот это вокруг, — он показал на окно. — Там. Оно тоже настоящее?

— Здесь все настоящее.

— А эти... монстры? — с трудом выдавил он из себя. — Которые здесь ходят ночью. И нападают. Как ты их объяснишь?

— Это ночные псы, — едва слышно прошептала она.

— Что? — не понял Матвей Иванович.

— Ночные псы, — отрешенно повторила девушка. — Мы называем их так — для простоты.

— Вы? — переспросил Матвей Иванович.

— Да, мы — все, кто здесь живет.

— Но что это... кто? Эти ночные псы? Это убийцы?

— Это охранники, — сказала девушка. — Обыкновенные охранники.

— Да, — сокрушенно произнес, выдержав паузу, Матвей Иванович. — Самые обыкновенные.

— Но это так, — устало ответила девушка. — Они нас охраняют. Потому мы и называемся «особо охраняемой зоной».

— А сама по себе «зона» — это что?

Девушка помолчала, закусив губу: она подбирала слова или решала, продолжать ли вообще разговор. В том, что Матвей Иванович не может воспринять информацию, у нее не было сомнений. Она развернулась и внимательно посмотрела ему в глаза.

— Сама по себе «зона» — это просто дома, — наконец ответила она. — Это наши дома.

— Но я чувствую иначе, — не унимался Матвей Иванович.

— Ты всегда чувствуешь иначе, — она впервые за всю эту встречу притронулась к его голове и принялась нежно гладить, перебирая волосы. — Ты всегда был впечатлительным. Слишком впечатлительным. Это не пошло тебе на пользу, — зачем-то добавила она.

— Мне не пошло на пользу то, что ты ушла, — ответил Матвей Иванович. — А оказывается, ты просто куда-то переехала, скрылась, — он неожиданно для самого себя зевнул. Спорить и тем более ссориться с возлюбленной совсем не хотелось. Ее тепло успокаивало, расслабляло — без этого тепла он прожил больше половины своей жизни и сейчас был готов умереть от счастья, от того, что его получил. Какое имело значение все остальное: все люди, все псы, вся «зона»? Да провались они пропадом! Ведь можно жить и без загадок, даже запутавшись в загадках, можно жить. Лишь бы чувствовать ток счастья — от головы и ниже по телу, от головы — до самых до краин, все хорошо, все очень хорошо. Живи!

— Ты что-то скрываешь, — сказал Матвей Иванович, но скорее по инерции, чем из желания продолжать разговор, а может — даже с желанием его закончить. Она поняла, она всегда понимала, даже когда он ставил ей старомодную, выцветшую, словно бабушкина фотография, песню.

— Не спрашивай ни о чем, — она приложила палец к его губам, и он немедленно ответил нежным поцелуем.

— Давай встречать Новый год вместе, — внезапно предложил он и поразился простоте своего предложения. Простоте, способной родить океан радости, простоте, пробиться к которой многим стоит не одной жизни. — Приезжай ко мне.

— Нет, — коротко ответила она. — Я не поеду отсюда никуда.

— Тогда я к тебе, а?

Девушка молчала и смотрела в одну точку куда-то перед собой.

— О чем ты задумалась?

— Не знаю.

— У тебя ведь неплохо здесь, — настаивал Матвей Иванович, удивленный такой неопределенностью.

— Да, — произнесла она через какое-то время. — Только холодно.

— Это точно, — Матвей Иванович поежился. — А пойдем в кухне посидим? У тебя ведь там наверняка чайник, плита, газ...

— Нету у нас газа, — как-то странно произнесла девушка. — И вообще, правильно говорить: на кухне, а не в кухне, грамотей.

Эта оговорка словно вернула ее к жизни, она снова потрепала волосы Матвея Ивановича.

— В журналах так пишут сейчас: в кухне. Мода такая.

— А я говорила тебе, тогда еще: читай другие журналы! Не надо читать такие, где пишут «в кухне».

Она поднялась и подошла к окну, отдернула занавеску. Непонятные цветные всполохи по-прежнему окрашивали небо, как фейерверк или лазерное шоу, но само оно было темным, и на двор наступала тревожная тишина. Матвей Иванович чувствовал ее всем телом: она проникала в него, сливалась с ним. Но время еще было.

— Оставаться тебе нельзя, — строго сказала девушка.

— Но почему? — удивился он. — Ведь я здесь в большей безопасности, да и с тобой... Они вчера, в квартире, не смогли меня поймать. Меня здесь не тронут, — почти крикнул он и тут же спохватился: — Нас не тронут здесь.

— Это правда. Но тебе нужно уйти. Ты успеешь, у тебя есть время.

Она направилась в коридор, приглашая проследовать за ней.

— Я тебя провожу. Хотя мы тут не закрываемся. Смысла нет.

— Ночные псы? — нервно рассмеялся Матвей Иванович.

— Я подумала, — продолжала девушка, не замечая его вопроса. В первый раз за всю встречу в ее голосе почувствовалась дрожь. — Приходи завтра. Мы попробуем.

— Что попробуем? — переспросил Матвей Иванович, пытаясь ее обнять, но она отстранилась: не сейчас, не надо.

— Попробуем встретить Новый год, — она тепло улыбнулась. — Я знаешь, сколько уже не встречала? Двадцать пять лет.

— Это отлично! — чуть не закричал Матвей Иванович. — Я завтра буду, я завтра обязательно приду!

— Только приходи пораньше, — тихо попросила девушка. — Это важно.

— Я люблю тебя!

— Беги.

Матвей Иванович постоял некоторое время возле двери, не желая отпускать наслаждение от встречи, развеивать романтический туман в голове. Это забытое чувство, склонявшее к дурацкому поведению, он, казалось, оставил в глубине памяти, под толщей ненужных, но неизбежных воспоминаний о каких-то мелочах прожитых лет, задвинул пронумерованные карточки с записями о них в самый дальний угол ящика — а какого из тысяч одинаковых, выстроенных в ряды — уже и забыл.

И вот сейчас стоял возле прикрытой двери и, представляя, как любимая, должно быть, смотрит на него в глазок и тихо дышит, таинственно и просто глупо улыбался. До тех пор, пока не зазвонил телефон.

К своему же удивлению, он не вздрогнул и даже сразу сообразил, кто и по какому поводу. Но окрыленному встречей, полубезумному от счастья Матвею Ивановичу было все равно. Он приложил трубку к уху и начал медленно спускаться по лестнице.

— Виктор! — крикнул он в трубку. — Виктор! Я сейчас постараюсь все объяснить.

Но в трубке молчали.

— Алло, Виктор? — для убедительности повторил Матвей Иванович. «Что-то со связью», — подумал он и взглянул на экран телефона. На него смотрел огромный — размером почти на весь экран — немигающий глаз.

«Что за чертовщина? — похолодел Матвей Иванович. — У псов этих... ночных... черт бы их, новая тактика?»

— Говорите же! — нервно крикнул он в трубку.

— Здравствуйте, — произнес ровный голос. — Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Матвей Иванович опешил. Голос был совершенно незнаком, но почему-то он сразу подумал, что именно таким наверняка озвучиваются рекламы йогуртов или какой-нибудь лапши для вкусного обеда всей семьи. Правда, чем вызвана такая уверенность, он все равно бы не смог объяснить — ведь о рекламе по телевизору, как и о многом другом в жизни, имел представление только из толстых литературных журналов — когда там о них писали, а писали, разумеется, лишь в негативном ключе. Голос располагал к себе и даже вызывал доверие, но чувствовалось, что он не станет терпеть никаких возражений. Внезапно Матвей Иванович понял, что это за голос и почему он с ним говорит, и смешно ударил себя по лбу: вот я балбес, как же мог забыть! Он остановился на лестничном пролете между третьим и четвертым этажами. «Возможно, опять придется бежать от монстров, — больше устало, чем испуганно, подумал он. — Так лучше делать это без трубки, прижатой к уху, и без сладкого голоса, объявляющего горькие новости».

— Спасибо, конечно, — Матвей Иванович зашмыгал носом, словно желая оправдаться: заболел, мол. — Но вы ведь не затем, чтобы меня поздравить, звоните, верно?

— Я вам звоню и затем, чтобы вас поздравить, тоже, — ответила трубка. — Всё по порядку. Позвольте представиться: я Бездушная Машина. Мы ведь с вами не общались прежде?

— Как-то не доводилось, — ответил Матвей Иванович.

— Тогда объясняю. Общение сводится к следующему: я говорю — вы слушаете. Вам понятно?

Матвей Иванович не стал отвечать, и не только потому, что в этом в принципе не было необходимости, просто появилось нечто, что его отвлекло. Пытаясь понять, что это, он учащенно водил носом — но запахов не ощущалось. Может быть, потому что нос утратил чувствительность, но Матвей Иванович догадывался, что причина в другом: дым, который собирался вокруг него, не был продуктом горения и вряд ли доносился из какой-нибудь квартиры или с улицы. Но тем не менее в воздухе все отчетливее пахло — и пахло бедой.

— Вы не могли бы связаться со мной попозже? — спросил Матвей Иванович, но его не слушали.

— К сожалению, в последние дни вы проявили себя как работник не с лучшей стороны. Да, мы признаём ваши заслуги и верность выбранной профессии в течение столь длительного времени, добросовестное отношение к вашим обязанностям... Но вместе с тем хочу отметить...

Матвей Иванович не вникал эти слова, он пытался понять, не слышно ли тяжелых шагов на нижних или верхних этажах, учащенного дыхания, собачьей одышки. Он смотрел в окно и убеждал себя: еще не совсем темно, еще видны последние люди на улицах, а в «Дом быта» еще забегают псы — не те «бойцы» с битами, а настоящие, обычные дворняги. По всем расчетам, время у него еще должно быть... Так что же тогда?

— Вы неоднократно предупреждались непосредственным руководителем вашего отдела о возможных последствиях. Вы также не сочли нужным в обозначенные сроки предоставить исчерпывающие и уважительные причины изменений в вашем отношении к рабочему процессу...

— Вы знаете, — нервно и рассеянно ответил Матвей Иванович, — мне очень нужно спешить...

— В связи с вышеуказанными обстоятельствами, — не меняя тона, продолжала Машина, — мы вынуждены сообщить вам, что приняли непростое, но единственно возможное в данной ситуации...

— Вот так, значит?! — не выдержал Матвей Иванович, дослушав информацию. — Без двухнедельной отработки? Перед самым Новым годом!

— Ну, я же бездушная, — кокетливо напомнила Машина, и в сознании Матвея Ивановича почему-то промелькнула Варенька из сна. «Тьфу ты, сравнил добрую девушку!» — отругал он себя мысленно.

— Мне нужно бежать, — ответил он трубке. — А то тут другие бездушные машины... — он не стал договаривать. — Давайте прощаться.

— Других Бездушных Машин не бывает, — неожиданно ответил голос. — Я единственная.

— Да, — закивал Матвей Иванович. — И неповторимая, — он нажал несколько раз на кнопку отключения, но разговор почему-то не прерывался.

— Желаем вам всего доброго и всяческих успехов, — сообщила Машина, она говорила еще какие-то слова, но Матвей Иванович уже не слушал — он положил телефон в карман и продолжил спускаться по лестнице. Туман становился гуще, и видимость пропадала. «Что ж я так медлил-то?» — в панике подумал Матвей Иванович и вдруг с удивлением понял, что, несмотря на туман, может идти вперед без малейших препятствий. Правда, куда он идет, было все сложнее разобрать — его окутывала черная мгла. И, поддавшись какому-то паническому инстинкту, он побежал, но, едва сделал несколько шагов, вдруг ужаснулся: он стоял на краю обрыва. Бетонный пол заканчивался, а дальше открывалась пустота. Справа и слева были стены, и Матвей Иванович подумал, что это дверной проем. Он крепко схватился за стены обеими руками и устоял.

— Откуда здесь этот провал? — думал он, переводя дыхание. — Ничего же такого не было.

Было похоже, что темнота меняет реальность. «Только этого не хватало», — в отчаянье подумал Матвей Иванович и обернулся. Его худшее опасение подтвердилось: густой черный туман не давал ему сделать шаг назад, рука упиралась во что-то твердое, хотя перед ним был всего лишь плотный воздух, — по крайней мере, Матвею Ивановичу хотелось так думать.

— Мама, — тихо сказал он, впервые вспомнив о матери, наверное, за несколько последних лет.

Невидимый механизм силы, сдержавшей его попытку выбраться из «зоны», готовился к ответным действиям. Он почувствовал равномерное давление на все тело, пытающееся столкнуть его в провал. Матвей Иванович оцепенел: молнией пронеслось понимание, что вот так он, скорее всего, и умрет. Даже тогда, со злыми неповоротливыми монстрами, у него оставался шанс. Но не теперь.

— Что же ты не сказала?! — заорал он, насколько хватило голоса. — Что же не предупредила?

Словно мощный кулак невидимого великана ударил по всему телу, перехватило дыхание, подкосились ноги, и цепкие руки отчаявшегося человека сами внезапно разжались, и понимать было больше нечего, искать спасения незачем — сама «зона» впечатала его в этот странный проем, подтолкнула с обрыва, и теперь началось падение. Матвей Иванович ничего не видел и ни о чем не думал. Он просто летел вниз.

— До свидания, Матвей Иванович, — произнес мерный голос из трубки, и экран телефона погас.

31 декабря

Кроме Крыма, Матвей Иванович никогда и нигде не бывал. За исключением, конечно, своего Города, где есть метро. Города, в котором он вырос, прожил и готовился когда-нибудь умереть. Он не любил этот город, но не потому, что тот был плох, а потому, что просто не знал, что это такое — любить город. Он любил свою квартиру, а город был просто данностью.

И тогда, в юности, он догадывался, что кроме Крыма в мире много прекрасных мест. Хотя правда была и в том, что Крым — самое прекрасное место на земле, и в том, что самых прекрасных мест в принципе — бесчисленное множество. Но для Матвея Ивановича даже в юности Крым был пределом. Рвануть

туда означало отправиться на край света. Солнечный полуостров существовал еще в его реальности, а остальные «самые прекрасные места» — уже за ее пределами. Что было вполне естественно — ведь у каждого человека свои внутренние границы: кто-то, родившись на перевалочной станции, где раз в месяц пробегают поезд, вырастет и объедит полмира, а кто-то и в крупнейшем мегаполисе не выходит дальше собственного двора. Для кого-то проехать три станции по одной ветке метро — удивительное путешествие, а кто-то не удовлетворяется и тем, что на Земле всего два полушария и, как в старом анекдоте, требует у жизни «другой глобус».

Для юной влюбленной парочки поездка в Крым была, конечно, серьезным предприятием. Но они планировали ее как угодно, только не серьезно. То есть не планировали вообще. Кто из них придумал идею, спустя столько лет было и не вспомнить. Где-то прочитали, слышали про Крым — «там тепло, там море», этого было достаточно. На какой срок поедут, в какие города — никто не знал и не думал, им было хорошо друг с другом, и они ехали на полуостров как в сказку — на фоне суетливого, дымящего и загазованного родного города их любовь не смотрелась так красиво, Крым должен был стать фоном их счастью, как будто для этого только и был создан.

Они не могли позволить себе ничего, кроме тепла и яблок — которые валялись прямо под ногами, — и любви. Но многие не позволяют себе и этого, и даже тогда оба смутно догадывались, что жизнь, скорее всего, выкрутит так, что они как раз станут одними из «многих», и пока еще остается время, нужно им насладиться. Огромное вековое колесо жизни уже приходило в движение, слоями отбрасывая пыль на все, что для них, молодых, было важно. Они могли задохнуться в этой пыли, могли быть сметены ее тяжестью, но самым вероятным вариантом было просто дождаться, пока колесо раскрутится, наберет скорость, и попасть под его всеперемальывающее движение, перемальывающее все. И вот уже натягивались тросы, готовые вот-вот лопнуть, не в силах больше сдерживать колесо. Но пока ты внутри него — это невозможно увидеть. Нужно было успеть насладиться.

И они успевали — ночевали в поле под стрекот невиданных насекомых, вроде похожих на тех, что они знали, а вроде бы и не тех; купались на диких пляжах; разводили костры и варили тушенку; бродили пешком по городам; перебирали маленькие камешки на морском берегу и дарили друг другу самые необычные; гладили местных кошек; собирали дикие ягоды; взбирались по горам, соревнуясь на скорость с местными; бродили по развалинам; почтительно склоняли голову в местах боевой славы. Они ведь были обычными людьми, им никто не преподавал историю в пятнадцати тракторках, как делают — Матвей Иванович нередко читал об этом — сейчас, да и какие у великой победы могут быть пятнадцать тракторов? Но все же они были совсем молодыми людьми, и радоваться им нравилось больше, чем грустить. У нее получалось лучше — она играла на гитаре, собирая им немного денег, знакомилась с местными, у которых они ночевали или гуляли всю ночь во дворах. Матвей был рад просто оттого, что она рядом.

Усталость снималась просто — достаточно было прийти к морю. Новый день, встреченный на берегу, не мог быть плохим или прожитым зря. «Это снова случится сегодня, — думал Матвей, открыв глаза. — Об этом уже шепчут теплые волны, об этом кричат чайки над волнами, об этом подают знаки облака над чайками». Солнце едва появлялось откуда-то из-за моря, возвращаясь из дальних странствий, победных и не очень, с других континентов, из других городов, неведомое очарование которых навсегда оставалось его тайной. Оно знало все о крохотном мире огромных и пустых желаний, простых и отчаянных чувств, звуков, наваждений, запахов, званных обедов и обеденных перерывов, укулов, укоров, обид и тысячетлетних ежесекундных признаний в самой верной и невероятной любви. А его солнце просыпалось рядом — так он еще, кроме Лисички, любил ее называть. «Солнышко там... — отвечала она, потягиваясь, и поворачивалась к нему: — Ты у меня самый единственный. — И смеялась: — Самый милый... Мы с тобой еще ни разу не ссорились».

«Поцелуй! Поцелуй спасет мир, — бездонно счастливый Матвей открывал для себя все новые истины. — Поцелуй прекраснее жизни. Поцелуй лучше, чем секс».

И куда бы они ни ездили на случайных попутках, в какие города и маленькие поселочки ни забредали, с кем бы ни проводили вечера — неизменным оставалось их возвращение к морю. Потому что море было Крымом, и Крым был огромным морем, как была им каждая мысль, каждая надежда, каждое чувство и предчувствие юных влюбленных. Жизнь была морем, и они выплывали, отдав друг другу себя, отлюбив там, на случайной, но словно дарованной древним богом любви мокрой скале, — теперь возвращались к берегу. И яркие крымские созвездия благословляли их, и лунная дорожка за их спинами, точь-в-точь как в популярной песне, блистала серебром («А когда проходили вдаль корабли, мы сжимали сильнее наши руки» — Матвею нравилась песня).

Вынырнув, она приводила себя в порядок: отряхивала тяжелые длинные волосы, смешно разбрызгивая во все стороны соленую воду, отчего Матвей смешно морщился и в шутку ворчал. Затем они смотрели в море — на берегу давно наступала крошечная мгла. Он брал камни и кидал так, чтобы они отскакивали от водной глади хотя бы раз, а лучше два, перед тем как окончательно скрыться. «Все, что ты видишь сейчас, — это все, чего ты хотел. Все, что ты чувствуешь, — это то, чего ты ждал. Все, что ты знаешь, — это то, без чего ты страдал, — думал Матвей. — Даже если закроешь глаза, все равно будешь видеть это море. Все равно будешь дрожать от этого трепета. Все равно будешь напряженно готов к прикосновениям. В молодости мысли материальны, или же просто совпадало так — но она и вправду обнимала его сзади, и он молчал, глядя на лунную дорожку, и не оборачивался.

Та ночь была обыкновенной — но только в том смысле, что необыкновенной была каждая. Они собрались прогуляться вдоль берега и складывали в рюкзак свои нехитрые вещи вроде полотенец, сменного белья, бутылки с набранной в фонтанчике городского парка водой, ее заколок и резинок. Его «вкладом» в рюкзак стал, конечно, толстый журнал, который он взял из Города, где есть метро.

— Ну и о чем там пишут, в твоём журнале?

— Да одни названия чего стоят: «Прожили мы жизнь в другой стране», «Это с нами было, как запой...», «Успеть бы выдохнуть, промолвить, прокричать...».

— Интересно, а вот последнее — оно о любви или о стране тоже?

— Не знаю, я стихи не очень. Я прозу читаю. Стихов слишком много — они только мешают сосредоточиться.

— Так что же, и мои... — изобразила возмущение она, но, в сущности, ей не была интересна оценка своих стихов, она писала их «от нечего делать» и многие забывала тут же.

— Ну что ты! — смеялся он. — Ты... ты как моя большая Лисичка, а из твоих стихов смотрят маленькие — из каждой строчки такая хитрая мордочка. — Он поцеловал ее.

— Господи, мы такой бред говорим! — рассмеялась она. — Мухи, лисички... Но вообще... Хорошо бы они о любви были, те, что у тебя там, — она кивнула на рюкзак. — Сейчас время такое, больше бы о любви надо...

— Пишут про большой террор, — ответил он, надевая рюкзак. — Из номера в номер. Тут уж не до любви. И вообще, в последнее время все меньше творчества, и все больше становится криков о том, как все неправильно жили.

— Так все-таки по лжи? — усмехнулась она. — Я подозревала.

— Мне даже странные сны стали сниться, нет, представляешь? — сменил тему Матвей. Он любил рассказывать сны, но она не всегда понимала и часто лишь кивала головой. Поэтому он задумался, но все-таки решился. — Когда об этом постоянно читаешь, наверное, как-то откладывается.

Они шли вдоль берега, и под шум волн, жестикулируя, Матвей рассказывал сон.

— У нас таких небоскребов нет... А у них — я, правда, не был, но там же у них полно. Стоэтажных, — он смешно вытянул руку вверх, изображая немис-

лимую высоту. — И вот я там как будто был. И все говорят по-английски, все в деловых костюмах, а я... как бы просто зритель, меня не видно. Там стол накрыт, значит. Длинный-предлинный, я таких не видел никогда, и все за ним, значит, сидят... А еще сидят два престарелых негра, в одеждах колдунов. Какие-то шаманы, что ли... Они все смотрят в потолок, а там — огромная карта мира, но она не висит, конечно, а такие, знаешь, проекторы стоят и ее туда просвечивают.

Девушка кивнула.

— И там все страны горят, ну, не в прямом смысле, а подсвечены таким ярким светом, а одна — затемнена. Наша, значит. И вдруг — она загорается. И становится еще ярче. А это шестая часть суши, представляешь, — наша страна. И потом — весь мир уже горит.

— Какой-то апокалипсис, — усмехнулась она.

— Ну, светом горит этим, — уточнил Матвей. — И все аплодируют, вскакивают с мест, друг друга обнимают, и зал весь — а он огромный — тонет в этих аплодисментах и криках. А негры все бьют в какие-то бубны и что-то поют. Танцуют, пляшут.

— Ты как за границей побывал, — рассмеялась его Лисичка.

Матвей, увлеченный сном, продолжил:

— И вдруг встает тот, кто во главе стола. А это такой старый, скрученный дед, но бодрящийся, и выглядит, конечно, идеально. В костюме шикарном, с золотыми часами. «Прошу, — говорит, — тишины». И встает прямо там, представляешь, на колени, вот так воздевает руки к небу и изо всех сил кричит: «Господа! Мы сделали это! Мы их задавили!» И опять шум-гам-пляски, а он орет еще чего-то, но не слышно. «Мы теперь властелины мира! Вся планета будет пить наши напитки. Представляете, какой это объем потребления? Какой это огромный новый рынок!»

— Тут мне как-то не по себе стало, хоть я и помнил, что меня там как бы нет, что меня никто не видит. А я ведь единственный, кто из этого «нового рынка». Вот такой сон.

Она взяла его за руку и задумалась, но ничего не сказала.

— И там потом еще все встали на колени и приложили руки к сердцу, как будто исполняли гимн, и на самом деле запели: «Все будет кока-кола».

Тут уж она не выдержала и громко рассмеялась, но потом снова посерьезнела и задумалась.

— Ну, пока до такого далеко. А ты, наверное, проснулся в холодном поту? — после паузы спросила она.

— Не то слово! Сразу побежал в море — пот смывать.

— Такое сейчас многим, наверное, снится.

— А ты же у меня медик будущий, — вспомнил он и решил сменить тему: — Ты, наверное, будешь изучать сны? Ты хотела бы изучать сны?

— Не знаю, — сказала девушка растерянно. — Я вообще ничего не хотела бы. Пока. Все от меня чего-то хотят, а я и сама не знаю, чего хочу.

— Ну, а если подумать? — наседали Матвей. Его посетило странное и очень дискомфортное ощущение, от которого он очень хотел избавиться, забыть его в разговоре. Признаться любимой не хотелось, да и, может, это ему только кажется?

— Была бы моя воля — я изучала бы улиток, — непривычно медленно произнесла она.

— Улиток? — переспросил он и удивился собственному голосу. Все вокруг как будто расплывалось, зрение теряло четкость. Матвей почувствовал, что идти стало сложнее — пришлось прикладывать немалые усилия, чтобы просто передвигать ноги. Несмотря на то, что вокруг царилась ночь, Матвей вдруг увидел, как воздух окрашивается серым цветом и будто бы концентрируется, загустевает. Он тревожно посмотрел на девушку, но та, похоже, ничего не замечала.

— Улитки — они интересней, чем люди. От людей устаешь, от улиток нет, — продолжала его возлюбленная, и Матвей понял: нужно немедленно сконцентрироваться на улитках. Удастся это сделать — и наваждение отступит.

К необычным крымским улиткам они прикипели оба. Впрочем, необычными улитки, наверное, были только для таких, как они, жителей огромного Города, где есть метро. Тысячи людей проходили мимо и не замечали улиток. Но тысячи людей многого не замечают, особенно — красоты.

В Крыму они увидели белых длинных улиток, словно закрученных в спиральку, с заостренной раковиной. Такие здесь были повсюду — они облепили почти всю траву, все низенькие растеньица и цветы, а Херсонесский заповедник так и вовсе можно было назвать заповедником белых улиток — земля была усыпана пустыми ракушками так, что невозможно было пройти, не почувствовав под ногами хруста. Живые улитки покачивались на тоненьких, беспощадно выжженных солнцем стебельках. Лисичка была добрее к улиткам: подолгу рассматривала их, брала в руки и даже гладила.

— Они так любят свой домик, — приговаривала она. — Улитки — самые домашние существа во вселенной. Вот ты хотел бы таскать за собой свой дом?

— Так это у них дом — свой. А у нас — вместе с соседями, на девяносто квартир как минимум. Попробуй потаскай, — шутил он.

— Ага, а вот они, наверное, одинокие. И соседей у них нет, и любимых у них нет. И в свой дом никого не позовешь, и друг к другу в гости не сходишь.

— Их дом очень уязвим...

— Ты во всем ищешь минусы.

— Так подумай сама! Стоит одной такой беззаботной лисичке пройтись по дорожке, напевая песенку, а сколько улиток лишатся домика!

— Уязвим и наш дом. Землетрясения, наводнения, смерчи. Войны, что самое страшное. И обидное. Вот ты живешь-живешь, а к тебе принеслось однажды... И ты улитка без дома. А без дома — это как без кожи.

Однажды Матвею удалось найти гигантскую старую улитку — правда, не белую и длинную, а вполне себе классическую, круглую. Пустую ракушку, покинутую своим жителем, должно быть, в незапамятные времена.

— Да, производит впечатление, — сказала она со смехом. Вот и Матвей улыбнулся. Они планировали увезти ее — на счастье — в свой большой город.

— Интересно, — сказала девушка, — а здесь есть улитки?

— Здесь — нет, — не сразу откликнулся Матвей. — Здесь камни одни.

— Ну там, — она показала в сторону, противоположную морю, — где-то есть трава, там же гора, тропинки. Значит, и улитки есть. Пойдем искать! — сказала она весело.

— Не хочу, — ответил Матвей, поняв, что видение не до конца растворилось. Может, стоило искупаться?

— Ну ты зануда! — фыркнула девушка.

— Стало очень холодно, — поежившись, сказал Матвей.

— Крым вообще становится холоднее. Лето уходит.

— Холодный Крым, — в задумчивости произнес он.

— Холодный, но наш. — Она улыбнулась и обняла его.

— Наш с тобой Крым, — натянуто улыбнулся Матвей, пытаясь не выдавать тревогу.

Тьма южной ночи словно бы расступилась перед ними, и в проявившемся островке зрения мелькнула собака. Обыкновенная низкорослая дворовая собака с хвостом-бубликом. Кажется, серая. Впрочем, ночью ведь все кошки серы. А собаки-то чем лучше?

— Смотри, собака! — воскликнула девушка, и Матвей с некоторым облегчением подумал: «Не померещилось».

— Странно. Что здесь делать собаке?

— Искупаться решила, — предположила девушка.

Матвей всмотрелся и заметил, что у собаки аккуратная заостренная мордочка, которую она повернула к людям и вот уже активно двигает носом. Вообще, собака больше походила на лису. На маленькую крымскую лисицу.

— На тебя похожа, — не удержался Матвей.

— На меня? Собака? — делано удивилась девушка. — Да я тебе!..

И вот тут в крошечной черноте в нескольких шагах от них вспыхнул огонек. Ошибиться было невозможно: чиркнула зажигалка, освещая лицо прикуривавшего человека. Рядом с ним стояли еще трое.

— Але, Крым наш! — агрессивно крикнул прикуривший человек.

— Ха-а, але-гараж, але-крым наш! — рассмеялся кто-то из компании противным и страшным смехом.

— Искупаться захотели? — глумливо продолжил первый голос.

— А ну пошла отсюда! — крикнул третий тип. Похоже, этот возглас был обращен к собаке, потому что в нее тут же полетел камень, и та, взвизгнув, исчезла с арены, на которой разворачивались дальнейшие события.

А разворачивались они стремительно. Девушка схватила Матвея за руку и потянула куда-то назад.

— Надо уходить, — испуганно шепнула она.

— Сюда подойди, — крикнул грубый голос, и в свете дымящихся сигарет можно было рассмотреть компанию. Ничего необычного в них не было: парни в майках. Разве что в руках держали палки, обтесанные, с закругленными и утолщенными краями. Однако Матвей сделал пару шагов навстречу.

— Чё, поговорим? — начал один из парней. — Ты откуда такой приехал?

Матвей, как это ни странно, никогда до этого не сталкивался с обыкновенными, самыми что ни на есть банальными гопниками. И не только оттого, что много читал журналы и попусту не выходил на улицу, была и еще одна, более весомая причина: светлый идеал, привитый родителями. Он в каждом человеке видел равного. Общительным Матвея было не назвать, не считался он и храбрецом, однако в школе не боялся никого — скорее всего, потому, что, когда его пытались задеть, «подцепить», — он просто этого не понимал.

— Не вашего ума дело, откуда мы приехали, — распялялась девушка, что было в такой ситуации, конечно, недопустимо. Но такой уж она была, его Лисичка. — Пойдем отсюда, Матвей.

— Пойдешь, когда я скажу! — жестко заявил парень с сигаретой.

— Слышь, ты откуда взялся? — поддакивал кто-то из компании.

Матвей уже догадывался, что добром эта встреча не завершится, но мысли убежать почему-то не было. Да и куда — или в море, или в черную неизвестность. Он был уверен, что местные парни и плавали, и уж тем более бегали лучше них с Лисичкой. Страшно было за нее. Сопротивляться и одному противнику он бы не смог — он никогда не интересовался драками, спортом, тренажерами и прочими «пацанскими», как говорили, увлечениями. Здесь же против них была целая компания.

— Ребята, я приехал из города, который вы все хорошо знаете, — вздохнув, обреченно начал Матвей. В этот момент он почему-то отчетливо представил себе грустного кота Леопольда с его наивной фирменной поговоркой. «Раздавлею, растопчу!» — кричали доброму коту противники-мышы, а он поправлял бабочку и вкрадчиво шептал: «Хочу стать невидимым». Наверное, это умение сейчас пригодилось бы Матвею. Но сигарета истлела, слабый огонек ее погас, и невидимками стали парни с огромными палками, уже наносившие — время застыло, но только совсем ненадолго — невидимый первый удар. Матвей не устоял и плюхнулся в воду, чувствуя жжение над рассеченной бровью — кровь сливалась с морской водой, и истошный вопль Лисички, возлюбленной его, забывшей вдруг и о добрых улитках, и об их милых домиках, и обо всем на свете, сливался с устрашающим хохотом, и чьи-то руки протягивались к ней. Матвей начал вставать, собираясь с силами.

— Бей! — закричал отчаянный, изможденный женский голос, и все существование их любви, да и просто их жизни, сжалось в одну точку, у которой только два пути: расстать в бесконечной пустоте или взорваться. Но не было, катастрофически не было сил. — Ну бей же! — кричал голос, но Матвей снова рухнул в воду, потом его тащили куда-то, что-то орало — он не помнил, не слышал, не понимал, его тело просто присутствовало, как грязный холщовый мешок, набитый мусором, или ковер во дворе, из которого выколачивали

пыль, — но уже и выколачивать было нечего, а его колошматили, поднимали и били снова, бросали о камни, тащили в воду, душили, трясли, а перед глазами почему-то стояла большая улитка, которую он протягивал своей Лисичке. И ее удивленный, радостный смех еще был, а вот была ли она, и что с ней? — Только ее не надо, только не надо ее!!! — и его рвало на камни черной тягучей массой. Кто-то, чертыхаясь, копался в его рюкзаке, и над бескрайней линией берега, протянутой во все стороны света, раздавался заунывный вой — то собака с мордой лисицы вернулась к людям. Разузнать, есть ли чем поживиться.

Матвей Иванович был раздосадован, что ему не приснился врач, в чем он как никогда нуждался. Столь реалистичные, четкие в деталях и ощущениях сны, как этот, его не посещали давно. Он снова прожил то, что в действительности произошло много лет назад. А вчера чудом остался жив — не для того ли, чтобы снова пережить эти эмоции? «Скорее всего, нет, — думал Матвей Иванович, — просто умирать за день до Нового года никак нельзя. Ведь случись такое, разве оно не будет доказательством, что Деда Мороза на самом деле нет?»

Когда он очнулся на холодном полу в непонятной яме, на куче мусора, ему, конечно, было не до Деда Мороза. Он долгое время лежал, вообще боясь пошевелиться — а вдруг разбился, в этом случае импульсы из мозга не найдут понимания у конечностей, и он останется здесь неподвижный — умирать.

Но по крайней мере одна из конечностей была ему подвластна, о чем свидетельствовала жуткая боль в ноге. Похоже, он пролетел не слишком большое расстояние, но достаточное, чтобы сильно ушибиться. Матвей Иванович вспомнил, что в момент его падения на улице уже было темно, а это означало, что сейчас могла наступить глубокая ночь. Перспектива лежать, затаившись, в яме, пока не поднимется солнце, его не прельщала. Завтра (может быть, уже сегодня?) Новый год, нужно встретить его, сделать подарок любимой — а там уже будь что будет, хоть снова в яму, хоть ночным псам на убой. Но лежать и стонать было нельзя.

Матвей Иванович долго ворочался, прежде чем смог встать. На большую ногу было невозможно опереться — каждое движение причиняло жуткую боль. Подтянувшись — с нескольких попыток — на руках, он выбрался из ямы и в изнеможении лег на спину, словно проделал тяжкий и долгий путь. Окружавшая обстановка оказалась знакомой и предсказуемой: грязная лестничная клетка, четыре квартиры и зияющая дыра, словно выход в открытый космос, на месте, где должна быть подъездная дверь. «Ну конечно же, ночь», — мысленно простонал Матвей Иванович.

Первой мыслью было вернуться в квартиру к Лисичке, рассказать ей все, пожаловаться, переночевать. Но не давал Праздник. Нельзя прийти к ней вот так, спустя двадцать пять лет, грязным, побитым, жалким. Как будто и не было всех этих лет, нельзя. «Она просила прийти раньше», — помнил Матвей Иванович, и эта мысль напрочь отогнала все другие — и про ногу, и про псов-охотников, и про долгий путь через снежное поле. Он вдруг вспомнил, что находится в самом последнем доме таинственной «зоны», а это означало, что за ним — вот прямо если выйти из подъезда и сразу повернуть за угол — начинается лес. И через этот лес он ускользнет, обманет псов. Только бы добежать, если заметят, — только б хватило сил добежать.

Она никогда не рассказывала, что же произошло с ней в ту ночь. Матвей очутился в местной больнице, где начал понемногу приходить в сознание. Лисичка приходила к нему, молчала и плакала. Он сам не хотел говорить, вспоминать, лишние подробности терзали душу, хотя и без них все было ясно, все укладывалось в простой констатации факта: он не смог защитить себя, не смог защитить ее. Простые русские слова, извечно объясняющие отношения между мужчиной и женщиной: для нее — замужем, за мужем, как за каменной стеной, для него — женат, как богат. Например — обзавелся богатством, женат — обзавелся женой. Женщина — свойство мужчины, его качество. Качество молодого Матвея, едва начавшего познавать отношения, оказалось невысоким. Теперь он знал: все, что между ними, — оно не могло быть таким, как прежде, не могло течь своим че-

редом. Сломан хребет, подорван фундамент, и их отношения могут быть теперь чем угодно, но не отношениями мужчины и женщины. Он лежал с заплывшим лицом, забинтованный и смотрел на нее, но хотелось скрыться, раствориться, стереться, родиться заново, бежать было некуда — один на один с миром, без целей и задач, без силы он лежал в крымской палате и смотрел в окно на яблоневую ветвь. Лисичка приходила снова. И он и она понимали, что никаких шансов в той схватке не было, что вся эта встреча у моря — роковая случайность, нелепое и скверное стечение обстоятельств, что нельзя было избежать, не прожить эту ночь. Они все понимали... Но русские слова были, и были значения этих слов — прямые и конкретные значения.

...Уйти в лес оказалось проще, чем он думал. Темные фигуры патрулировали двор достаточно далеко от него, и, хромя, практически прыгая на одной ноге, Матвей Иванович быстро завернул за угол дома, а там решил вообще не смотреть назад — будь что будет, заметят так заметят. Но каким-то странным образом понимал, что псы-охранники не пойдут за ним в лес — это не их территория, не «особо охраняемая зона», а правильного охранника никогда не заботит то, что происходит за пределами его периметра. Выйдя из леса, где его так никто и не стал преследовать, Матвей Иванович осторожно обошел «зону» за пределами забора, наблюдая за блуждающими на ее территории тенями. Те не проявляли к беглецу никакого интереса, но окончательно успокоиться он смог, только попав на привычную, протоптанную им дорогу в снежной пустыне. Здесь немного отдохнул и даже повалился в снег, глядя на звезды. Впервые в жизни он ощутил легкость — словно был прикован цепями в одном положении, не мог вздохнуть, и вдруг каким-то чудом они спали, рассыпались — нет их больше! И Матвей Иванович смеялся, как ребенок, как душевнобольной, — неважно. Просто Матвей Иванович смеялся.

«Завтра будет Новый год! — он вскрикивал от боли, ступая на поврежденную ногу, и снова повторял: — Завтра — Новый год. Новый!» Так и шел. И только перед самым домом, когда был готов упасть от нечеловеческой усталости, ему вдруг стало не до смеха: возле подъезда ждала стая собак.

— Вы чего это? — пробормотал Матвей Иванович.

Псы сидели возле подъезда и не проявляли агрессии, не мешали человеку пройти, а те, что мешали, вяло поднялись и передвинулись на несколько метров. Но Матвею Ивановичу все равно стало страшно: «зона» протягивала к нему руки или щупальца, что у нее там, — передавала привет, сообщала ему, что она гораздо шире, чем несколько домов на отшибе, и это открытие было не из приятных. Правда, то, что псы его не трогали, наверное, тоже что-то значило. Но что? «Не приходи в наш дом, или мы придем в твой?» Как и те, которых он видел в «зоне», эти псы не лаяли, вообще не издавали звуков — просто сидели и внимательно смотрели на проходящего человека. Словно запоминали.

— Разрешите, — глупо сказал Матвей Иванович, копясь в кармане в поисках ключа.

...Когда его выписали из больницы, они сразу покинули Крым. Уезжали тихо, не прощаясь с морем, не играя песен, не собираясь с кем-нибудь во дворах — отмечать, собственно, было нечего. По большей части молчали, лишь иногда она говорила, что любит его, а он — ее, но все произносилось тихо, словно в попытке преодолеть невидимую, но твердую преграду, возникающую всякий раз на пути слов. Когда оставалось немного времени до поезда, прошлись по набережной и долго смотрели на катер, уплывавший куда-то вдаль. На катере веселились люди; они уезжали — а Крым оставался. И ему, Крыму, как покажет время, достанется непростая судьба. Деньги на билеты прислали ее родители.

У них оставались дорога домой и почта, где потом забирали «счастливый» снимок. Тогда стало как-то легче, казалось, что груз спадет, что запомнится только хорошее, что впереди еще столько всего — целая жизнь. Но впереди ничего не было. Узнав об истории, случившейся с ними в Крыму, родители Лисички поставили на их отношениях крест. Возможно, они бы сделали это в любом случае — дерзкой поездки уже было достаточно для «приговора». Она решила

посвятить себя учебе, забыть его и выкорчевать из памяти ту трагедию, даже не подозревая, что совсем скоро ее ждет новая, куда более страшная и неотвратимая. Матвей Иванович думал так все эти годы, до вчерашнего дня, до невероятной их встречи он не сомневался, что все было так.

После беспокойного сна боль в теле только усилилась. Матвей Иванович поставил чайник и привычно схватился за журнал, но, прочитав пару строчек, внезапно почувствовал неведомое раньше чувство отторжения. Чем сильнее он пытался заставить себя продвигаться вниз по строчкам — тем меньше хотелось читать.

Удивленный, он тем не менее признал, что чтение вряд ли доставит сейчас удовольствие, и решил готовиться к Новому году. Нашел в себе силы помыться, выпил наконец чашку чая, достал чистую рубашку и принялся гладить. То же проделал и с брюками.

Но едва настроение Матвея Ивановича начало улучшаться, он тут же вспомнил, что лишился работы. Вчерашний разговор — да, собственно, сам факт звонка Машины — уже означал, что назад, то есть в здание архива, дороги не будет. Разве что за документами — на сей раз своими, впервые за четверть века, отданную документам других. «И что я теперь буду делать? — думал Матвей Иванович и сам себе отвечал: — Буду жить».

Странно, но печали не было. Вот только чем заниматься дальше, он решительно не знал. Работать с людьми не сможет, а все профессии сегодня связаны с этим — да и когда бывало иначе? И получать новую профессию, в общем, уже поздно. «Может, переселиться к ней? И жить, — мелькнула мысль, но он тут же осадил себя: — Решить за счет нее свои проблемы?» Ну и, конечно, добираться до новой работы — какой бы она ни была — из «зоны» и возвращаться потом вечерами неудобно, мягко говоря.

Она просила поторопиться, вновь вспомнил Матвей Иванович. Открыл нижний ящик своего шкафа, достал упакованную бритву, отер от пыли, развернул. Отправился в ванную, долго возился перед зеркалом. Вышел в прихожую, причесался. Осмотрел рубашку — и остался недоволен. Снова достал утюг, свернул носовой платок, положил на манжету. Аккуратно разгладил. Точно так же поступил с другим. Надел рубашку, вновь подошел к зеркалу. Достал из тумбочки одеколон, принялся. Аккуратно прыснул, растер пальцем. Улыбнулся, посто-ял немного. И рассмеялся.

Нога по-прежнему болела, словно кто-то жестокий и неумный ее оттягивал, мешая сделать шаг, держа Матвея Ивановича на месте. Нужно было торопиться, и он открыл входную дверь, вышел в подъезд, спустился на первый этаж, где возле почтовых ящиков стояла мусорная корзина. Сюда традиционно перекочевывал всякий хлам, обнаруженный жильцами, не достаивавшись даже толики их внимания: рекламные листки, стилизованные под объявления, для привлечения — и одновременно устрашения — пенсионеров, визитные карточки, муниципальные газеты. Матвей Иванович избегал даже смотреть на весь этот мусор, извлекая из своего ящика очередной толстый журнал, и брезгливо швырял в корзину. Сейчас же он склонился над ней и напряженно что-то искал. Наконец нашел выброшенный кем-то районный справочник и вернулся в квартиру. Вызвал такси.

— Через десять минут у вашего подъезда, ожидайте, — ответили ему.

— Спасибо, — произнес Матвей Иванович, положил трубку и вышел во двор.

Неприятности поджидали его прямо возле подъезда. С раздражением он заметил, что вчерашние псы никуда не ушли и по-прежнему сидели — достоверности ради некоторые лежали, другие — вяло бродили на том же месте. Увидев Матвея Ивановича, напряглись и усталились на него. «Как будто в глаза пытаются заглянуть, твари, — зло подумал Матвей Иванович и хотел было припугнуть псов, но одумался: — Всё ведь тебе припомнят, когда в “зону” приедешь».

Несколько псов двинулись за ним, но Матвей Иванович не стал далеко уходить, ожидая такси. И тут же до него донеслись звуки, которые он с ходу, без размышлений, оценил как омерзительные:

Ну чо, б..., слушай дальше
Мою историю без рифмы и фальши.
Слушай, как поднимаются люди,
Реально идут к своей цели... —

его передернуло, и он резко обернулся в сторону источника звука. Рядом сидели знакомые ему парни и косо, неодобрительно смотрели на Матвея Ивановича. Они были одеты в какие-то дутые куртки, огромные штаны — все разноцветные, и качали головами в такт звукам. Парни сосредоточенно, словно занимались крайне важным делом, жевали жвачки.

«Что те, что эти...» — подумал Матвей Иванович, снова бросив взгляд на дворовых псов. Но при том что парни смотрели на него явно неодобрительно и, похоже, с оттенком презрения, он почему-то не испытал страха, как не почувствовал и опасности. Между парнями из сегодняшнего сна — а значит, той, далекой прошлой жизни — и этими была колоссальная разница. Матвей Иванович чувствовал это, но никак не мог объяснить. Чего не было в тех парнях и что есть в этих? Почему его вообще так интересует этот дурацкий, ведь прямо скажем, вопрос?

Через минуту он ехал в такси, обгоняя хмурые троллейбусы и маршрутки. Он смотрел на свой Город в последний день перед Новым годом, вжавшись в стекло, растворяясь в увиденном. Шел мокрый снег, подтаивали сугробы, суевливые люди жалась к стенам домов и перепрыгивали огромные лужи. В руках они несли пакеты, бесконечное количество пакетов. Народ торопится, думал он, почему-то вновь обращаясь к своей Лисичке: мол, если бы ты только знала, сколько здесь теперь магазинов.

— А я думаю, что все это как искры — неожиданно сказал Матвей Иванович. — Все эти перемещения людей по карте Города, вся эта человеческая возня, да и вообще, не на Новый год только — нет, в целом. Вообще все человеческие дела, большие и маленькие, — это как искры огромного бенгальского огня. Которым кто-то любит сверху: искры горят, но от них не будет пожара, они даже не отлетят далеко, как привязанные, как на ниточках... У вас нет такого ощущения?

— Приехали, — сочувственно сказал водитель. — Вы уже кваску-то махнули?

— Что? — растерянно переспросил Матвей Иванович.

— Эх, — махнул тот рукой. — Не смотрите новости, что ли? У вас десять минут, время ожидания.

Матвей Иванович вынырнул из автомобиля и оказался прямо возле палатки с хот-догами. Печальная продавщица смотрела в окошко — ее товар сегодня не пользовался спросом.

— С Новым годом! — неожиданно для себя крикнул ей Матвей Иванович.

— С новым счастьем, — ответила та заторможенно.

«Зачем людей мучить? Небось, освободится в двадцать три, домой не успеет доехать. И всё ради чего? Зачем?» — думал он. За маленькой палаткой с грустной продавщицей открывался торговый центр-гигант: четыре этажа, кинотеатр, спортклуб, детский развлекательный комплекс — о таких писали в журнале «Счастье»: все для отдыха, все для человека.

— Запакуйте, пожалуйста, — сказал Матвей Иванович девушке на кассе, и та приятно улыбнулась.

— Давайте с вами подберем коробочку и вот еще — ленточку в цвет. А можем обмотать подарочной фольгой, — щебетала девушка. Матвей Иванович было растерялся, и тут на него нахлынуло забытое, словно из тех лет, чувство, как морская волна утром, омывающая его ноги, как яркий солнечный луч, пред-

вещающий долгий и радостный день, — прекрасное чувство блаженства. Он покупает подарок — что может быть проще, казалось, и что может быть лучше? Покупать, чтобы дарить. Дарить, чтобы радовать. Радовать, чтобы жить.

— Большое вам спасибо, — довольно произнес Матвей Иванович, аккуратно взяв коробочку.

— Счастливого Нового года! — улыбнулась девушка.

Он прошел к выходу, на секунду остановившись возле лотка с цветами, но решил не брать их: Матвей не дарил цветов своей Лисичке. Не потому, что был жаден, просто хотел, чтобы все жило. А цветы — они ведь медленно умирали в вазах, и смотреть на них было жаль.

— О, с подарком! — одобрительно встретил водитель. — Я вот тоже жене щас поеду... сапоги покупать. Тебя довезу только... Знаешь как рада будет!

Матвей Иванович кивнул.

— То-то же, — расхохотался водитель. — Ну что, на конечную этого... как его?

Матвей Иванович снова кивнул.

— Эх, странные, конечно, маршруты для такого дня, — сказал водитель и надолго замолчал.

Пассажир крепко сжал подарок и снова уставился в окно — но люди уже не бежали, согнувшись, по грязному асфальту, а шли, крича что-то в трубку, смеясь, обнимаясь, помогали грузить сумки в машины, договаривались о чем-то, несли в руках свежие елки. И у каждого, казалось Матвею Ивановичу, грелся в сердце маленький подарок. Ждал своего часа, своей заветной минуты. Мокрый снег кончился.

— Привет.

— Привет, — скромно улыбнулась девушка.

— Разрешите войти?

— Ты выглядишь испуганно. Но сегодня — действительно хорошо.

— Я еле дошел, — признался Матвей Иванович, разуваясь. — До ваших домов, конечно, все было нормально. А здесь у вас черт знает что творится... Конечно, мне хотелось бы, чтобы ты рассказала хоть немного... Потому что это же мистика, знаешь, то, что здесь у вас происходит, — это же невозможно! — он уставился на нее с таким видом, как будто сделал открытие.

— Хорошо, — она опять улыбнулась. — Я расскажу, ты проходи, — она жестом пригласила в комнату. — А у тебя что случилось?

Матвей Иванович рассказал — как сумел — про «густой воздух», про тяжесть в ногах и тягучую, как во сне, реальность, которая затормаживает все действия, а вчера и вовсе скинула его с высоты, и он только чудом остался жив, не свернув себе шею.

Девушка выслушала внимательно и спокойно, но ничего не ответила.

— Твое платье снова чистое, — изумился Матвей Иванович, забыв о трудностях дороги.

— Конечно. Разве можно встречать дорогого человека в грязной одежде? — в этих словах послышался укор.

— Но ведь у вас нет воды, — напомнил он.

— Ну да, и газа нет, — продолжила девушка. — Так и живем. Многие так живут, ты знаешь.

Матвея Ивановича удивляло то, что она постоянно произносит «мы». Почему не говорит о себе, а все время упоминает «зону», всех остальных, хотя при чем тут они? Что у них здесь, община какая-то? Вроде бы нет, просто соседи. Но, открыв было рот, Матвей Иванович передумал говорить — он смотрел на свою Лисичку, и все, чего он хотел, так это любоваться ей. Зачем вообще о чем-то говорить, зачем выяснять что-то, когда можно просто молчать и быть? После стольких лет небытия. Как она может быть такой молодой? Такой красивой? Как

это возможно? Неужели люди в «зоне» не стареют? Но это чушь. Он видел здесь стариков. Ей должно быть сейчас сорок пять — как и ему. Может ли она выглядеть на столько лет моложе — как будто ее вообще не касается время? Только ее.

— Что-то случилось? — спросила девушка, заметив на его лице замешательство.

— Да нет, — поспешил рассмеяться Матвей Иванович, — все отлично, честно. Ты такая... красивая. Ты головокружительно красивая.

— А вот это не нужно, — засмеялась и она, подошла, обняла его. — А то ты снова упадешь и на этот раз не сможешь выбраться.

Что-то зловещее послышалось в этих словах, и Матвей Иванович тут же поспешил отбросить дурацкую мысль. Но в какой-то миг ему стало страшно в ее объятиях.

— А как мы будем готовить, если у тебя нет газа? — он решил отвлечься. — Я там продуктов купил кое-каких. Или у тебя электрическая?

— Нет, — покачала она головой. — У меня никакой.

— Ладно, — нервно рассмеялся Матвей Иванович. — Будем встречать так.

— Будем встречать так, — согласилась она, уткнувшись в его плечо. Матвею Ивановичу стало стыдно за свои дурные и странные мысли — события последних дней расшатали психику, — и он испытал прилив нежности: гладил любимую, запустив руку в волосы, целовал, шептал: «родная, любимая, единственная...» И ведь не обманывал ни в чем.

— Елка! — увидел он наконец. — Ты нарядила настоящую елку! Вот это да! — Матвей Иванович не скрывал искренней, какой-то детской радости от того, что обнаружил в ее комнате елку — маленькую, украшенную гирляндами и несколькими шариками — белыми, серебристыми...

— Конечно, — девушка подошла к елке. — Я нарядила елку для тебя. Для нас с тобой, — смущенно поправилась она.

— Ты помнишь, как мы праздновали тогда? Это был лучший Новый год в моей жизни. Я вспоминал... — его голос задрожал. — Я вспоминал его каждый год. Когда приходил праздник — в каждую квартиру, в каждый дом, в каждое сердце, — ко мне приходили эти воспоминания. И я тоже пытался... Я тоже его встречал. Вместе с тобой.

Она тихо поцеловала его.

— Не надо больше, — с грустью шепнула она. — Хорошо?

Матвей Иванович подумал, что ей неприятны разговоры о том, как он жил без нее, и действительно, начал корить он себя, сказал что-то не то... Но как же? Ведь неизвестно, а что было с ней, как прошли ее годы — что она думала, что делала?

— Помнишь? — девушка приподняла еловую лапку, и он увидел тот самый зеркальный шар. Вот только почему-то вместо Нового года их молодости он вспомнил вчерашний день. Как обнаружил этот шар в подъезде и как, разозлившись, пытался разбить его прутом. Но сказал, конечно, другое:

— Помню. Я помню все, что у нас было. Я помню каждую минуту, — он взял ее за руку. — Такое не забывается, — поцеловал ее и добавил: — Ты не забываешься.

— И ты, — прошептала она. — Мы были в сказке.

— Я и сейчас в сказке.

— А я в сказке с тобой.

Они долго, неприлично долго молчали.

— Откуда ты взяла елку? — спросил Матвей Иванович, прохаживаясь по комнате и пытаясь вернуться в реальность после нахлынувшей страсти.

— Так лес у нас рядом, — она пожала плечами, а он так и не понял, была ли это шутка, или его Лисичка действительно ходила с топором — или пилой? — за елкой.

— Ну да, ты же лисичка у меня! — рассмеялся он. — Все по лесу гуляешь. А я вот придумал через него ходить к тебе.

— Ты ходишь ко мне через лес? — изумилась она.

— Через лес, — подтвердил Матвей Иванович, смеясь. — Так всегда теперь буду ходить. У вас же здесь, знаешь, столько всего... Чтобы... мало ли что.

Он все еще смеялся — чистым, залиvistым смехом, словно тот мальчик в Крыму, встречающий на берегу Солнце, словно он не глотал архивную пыль все эти годы, не тускнел от невозможности встречи, от неверия в то, что хоть что-то изменится, словно не подпитывался с одинаковых страниц чужими словами, чужими истинами, чужими жизнями в попытках пригасить боль своей, наполнить ее пустоту — так затыкают сквозную дыру первой попавшейся тряпкой. Он все еще смеялся, наслаждаясь своим неожиданным, ничем не объяснимым счастьем, но девушка уже смотрела внимательным и тяжелым взглядом, ожидая момента, чтобы произнести:

— Нет. Всегда не получится.

— Ну как же? — Матвей Иванович взглянул на нее добрыми и глупыми глазами. — Мы ведь с тобой вос-со-еди-нились, — он упивался словом. — Как Крым с Россией, ты слышала? Мы теперь снова вместе!

— Ко мне не получится приходиться, — тихо прошептала она, словно боясь его ранить, но не зная, как избежать слов.

— Ну так и ладно, — пожал плечами Матвей Иванович. — Приходи ты ко мне. У меня целая квартира — квартира в Городе, где есть метро. Что еще нужно? Переезжай ко мне прямо завтра, у меня есть и газ, и свет, — он снова засмеялся.

— Присядь, — сказала она отстраненно.

— О! — Матвей Иванович поднял вверх палец, показывая, что он забыл что-то очень важное. — Только после одного небольшого, но очень приятного эпизода нашей сегодняшней встречи.

Девушка улыбнулась, но вышло как-то криво.

Матвей Иванович вернулся в прихожую, где оставил пакет, вытащил коробку с подарком и поправил перевязанную ленту. «Все отлично», — шепнул он сам себе.

— Дорогая моя, — он не вошел, а прямо вбежал в комнату и с ходу начал речь: — У меня просто нет слов, как я...

— Тихо, тихо, тихо, Матвей, — она прервала его мягко, но настойчиво.

— Но я же... — растерялся он.

— Давай ты ничего не будешь говорить, — попросила девушка. — Иногда нужно просто послушать. Я говорила об этом еще двадцать пять лет назад, — она улыбнулась, ожидая согласия.

— Хорошо, — Матвей поправил очки, которые сползли, как всегда, в самый неподходящий момент.

— Давно бы пора подкрутить, — заметила девушка.

— Это уж точно, — ответил Матвей Иванович. — Ну что ж, давай без слов. — Он присел рядом и протянул ей подарок. Но девушка печально покачала головой.

— Я не могу взять.

— Ну что ты? — Матвей Иванович занервничал. Он совсем не ожидал такой реакции. — Я же... выбирал для тебя. И знаю, что тебе понравится.

— Я не могу взять, — она посмотрела в его глаза, и на сей раз отчего-то строго, так что Матвей Иванович даже слегка отшатнулся. — В прямом смысле: не могу взять.

— То есть как это? — улыбка, и без того напряженная, сползала с его лица.

Девушка вздохнула.

— Я могу брать только те предметы, которые здесь есть, — она обвела рукой комнату. — То есть те, которые были до твоего прихода. Но не принесенные тобой. Не появившиеся здесь как-то еще.

Матвей Иванович посмотрел на нее растерянно и испуганно, затем встал, подошел к елке и поставил подарок под нее.

— Так хоть красиво, — сказал он убитым голосом.

Ну конечно же, как он мог так долго пребывать в заблуждении!

Как мог наслаждаться ее объятиями, словами, ее молодостью, в конце концов, будучи уверен, что эта встреча — подарок небес, счастливая случайность, что теперь все будет как прежде или как хотелось когда-то — не важно! Как мог так быстро поверить в возможность того, во что и поверить-то невозможно!

Он с опаской посмотрел на нее, но все-таки вернулся, снова присел рядом.

— Я не хотела тебе говорить вчера, — сказала девушка. — Боялась, что ты не придешь. Или что они тебя не пустят...

— Эти... псы?

Она резко кивнула.

— На тебя и так вчера навалилось... И то, что ты увидел меня, — одного этого было достаточно.

— Ну, здесь ты, конечно, права, — он попытался обернуть все в шутку. — Мне, чтобы быть счастливым, одного этого достаточно.

Но девушка не улыбнулась.

— Врач ведь тебя не обманывал.

— В смысле?

Матвей Иванович вспомнил своего врача с рыжей бородкой и вечным бокалом в руке и усмехнулся: а в чем он, действительно, мог обманывать? И когда? «Но откуда она знает? — уколола мысль. — Это же сон».

— Тот врач, что сообщил тебе тогда... — подсказала девушка.

— Ты хочешь сказать? — Матвея Ивановича сковывало ледяным оцепенением понимание смысла ее слов.

— Я не хочу сказать — я говорю, — собралась девушка. — На меня напала стая бездомных собак. Это было ночью, когда я возвращалась домой. Людей рядом не было, а что можно сделать, если у тебя из оружия только сумочка со всяким барахлом?

— Т-ты... — Матвей Иванович боялся произнести.

— Я умерла тогда. Погибла. И теперь я здесь.

— Но погоди! — Матвей Иванович вскочил. Вначале ему хотелось просто бежать от ужаса куда глаза глядят. Но как же... эта уютная комната, елка, его Лисичка с такими живыми глазами.

Живыми, живыми... стоп!

— Ты хочешь сказать, что тебя загрызли собаки? — воскликнул Матвей Иванович.

— Именно.

— Насмерть?

— Насмерть.

— Но где тогда следы от ран? На тебе места живого не должно быть. Ты должна быть ходячим... распотрошенным... мясом, — он не подбирая слов, и самому стало тошно от услышанного. — Тьфу ты!

— Ну, спасибо, — отреагировала девушка, изобразив обиду.

— Пожалуйста! — выпалил Матвей Иванович. — Так что?

— Так ничего! А как ты думаешь, почему тебе запретили приходить на похороны? — Он остолбенел, вспомнив самый страшный и тяжелый эпизод своей жизни. — Почему от тебя скрыли, где я? Потому что хоронить было нечего! Потому что гроб был закрыт.

— О боже мой! — закричал Матвей Иванович в исступлении. — Боже мой!

— Тише, — попросила она. — Ты прошел самое главное. Ты принял эту информацию, теперь можешь сидеть и слушать. Теперь мы можем говорить.

— Говорить? — ошалело переспросил Матвей Иванович. — Говорить с кем?

— Со мной, — просто ответила девушка. — С твоей Лисичкой.

— Но ведь тебя же... ты же...

— Мы можем влиять на сознание, — тихо сказала она. — Мы — это те, кто живет здесь, в «зоне», как ты говоришь. Хотя никакая это не «зона», конечно, мне все время так было смешно...

— То есть ты — это мое сознание? Я вижу тебя, потому что ты влезла в мое сознание?

— И не только в сознание, — кивнула девушка. — Во все чувства. Обоняние, осязание, зрение, слух — все, что ты можешь, сейчас подвластно мне. Именно поэтому в твоей голове целостная, полная картина. Ты абсолютно убежден, что все вокруг реально, и в первую очередь — мое тело. Но моего тела здесь нет.

— Подожди... — задрожал Матвей Иванович, он пытался себя успокоить, но получалось плохо. — А где тогда ты сама? То, что ты...

— Я здесь, — ответила девушка. — И ты тоже здесь. Здесь твой подарок, который ты принес, и твой пакет, из которого ты его выложил. А больше здесь ничего нет.

— Но как же тогда это все существует? То, что вокруг? Эта елка, эти шторы, это... в конце концов, одеяло?

— А это все я, — спокойно сказала девушка.

— Ты вот! — глупо воскликнул Матвей Иванович. — Рядом со мной... ты... — Ему стало жутковато от нового смысла, который стали приобретать простые и нежные человеческие слова.

— Не только, — улыбнулась девушка. — Все остальное здесь тоже я.

— Но как? — не мог поверить гость. — Я уже видел здесь многое, но это... я просто не могу поверить. Ведь это же все существует, действительно существует... И это все так... Так для меня важно. Я впервые почувствовал, что я жив. Впервые — по-настоящему жив! А что же, получается, я умер?

— Ты жив, — успокоила девушка. — Твоя мысль движется в неправильном направлении. Ты — жив. Мертва — я. Разумеется, как физическое тело. А все эти вещи — созданы мной. Я создаю обстановку, — рассмеялась она. — Тебе ведь нравится?

— И я, выходит, создан тобой? Я тоже — часть твоей обстановки.

— Ты не обстановка. Ты мой любимый, — улыбнулась она. — Я думаю, я управляю тобой: ты есть. Все как в настоящей литературе, которую ты так любишь.

— Я настоящей литературы не читал сто лет, — устало ответил Матвей Иванович. — Придумала бы ты мне... литературу.

— Я придумала тебе жизнь! — воскликнула девушка. — Матвей! Ты дурак? — искренне удивилась она. — Или как?

Он с тоской посмотрел в окно — в темнеющем небе снова воцарялся хаос: разноцветные круглые и овальные пятна пускались в пляс, сходились в пары, кружили хороводы — весь двор, должно быть, озарялся бликами, как школьная танцплощадка, где он был однажды. Снежинки, спешившие к людям, окрашивались в яркие цвета и, наверное, с любопытством разглядывали друг друга: «Ах вот ты какая!» — «Да, я такая!» — «А разрешите-ка мне с вами познакомиться», — остаться, посидеть на кухне... И летели встречать Новый год вместе. Потому что вместе ведь веселее, вместе — счастливее, вместе не так сжимается сердце, а если и сжимается — то по-другому, от чего-то другого, и если хочется — пусть сжимается! Пусть!

— Это тоже ты придумала? — спросил Матвей Иванович.

— Нет, — ответила девушка. — Это ты.

Матвей Иванович сильно закашлялся, и она ударила его по спине. Он отскочил как ошпаренный, но тут же подумал, что такое поведение глупо.

— Извини, — произнес он смущенно.

— Я добрая, — рассмеялась девушка. — Меня бояться не нужно. И я — это действительно я. Та же, что и была. И я скучала, — последнее она произнесла совсем детским голосом, заставив Матвея Ивановича вздрогнуть.

«Она это специально... регулирует? — подумал он. — Или это ее настоящий голос? Живой», — он удивился простому слову.

— Это ведь я позвала тебя, — продолжила девушка. — И ты пришел.

— Как это... позвала?

— Я хотела тебя видеть, потому что ты писал мне. И я все это слышала — все, что ты говорил мне в своих письмах. Слышала тебя. А если о нас вспоминают, мы можем давать о себе знать — такова наша особенность.

— Выходит, все, кто здесь находятся, — мертвы?

— Не только здесь, — кивнула девушка. — Таких мест много. Когда мы были моложе, — она запнулась. — Когда ты, извини, был моложе, мы часто смеялись, какой, должно быть, стерильный рай, какой бессмысленный, карикатурный ад. Конечно, мы не верили. Но мы и не знали, как все на самом деле, и это страшило. Если бы я знала, как все будет, то никогда бы не боялась умирать.

— А как все будет? — удивился Матвей Иванович. — За один только вечер умирает больше человек, чем у вас тут жильцов... постояльцев... — он запутался, подбирая слова.

— Здесь все, кто умер от собак, — сказала девушка. — Простое распределение, сортировка... Тебе, наверное, такое понятно... Ведь ты же в архиве работаешь, верно? Видишь, здесь нет ни рая, ни ада. Кто умер от чего-то другого, попадают не сюда.

— А куда же? — недоумевал Матвей Иванович. — В другую страну? Другой город?

— Не знаю, — сказала девушка. — Таких анклавов очень много, и мы о них ничего не знаем.

— Но почему все так странно? Ведь разделение на грешников и праведников — оно хотя бы понятное. Эти налево, эти — направо. Можно воссоединять семьи — «подселять» правнуков к прадедам. Это, как бы сказать, человечно. Но в чем смысл здесь? Ведь какой-то же высший смысл должен быть, а? — почти отчаянно спросил Матвей Иванович, как будто разговаривал с самим Богом, Создателем, а не с внушенной ему иллюзией.

— Я не могу этого знать, — девушка печально покачала головой. — Я знаю лишь то, что здесь. Во всех анклавах примерно одинаково распределены жители, но я не могу побывать там и не знаю, как там и что. Какие формы принимают те, кто умер от другого, какие условия даются им.

— Никогда бы не подумал, — нервно рассмеялся Матвей Иванович. — Нет, ну никогда бы не подумал, ей-богу. А Бога-то, кстати, нет?

— Я не знаю, — повторила девушка твердо, не желая продолжать этот разговор. — Ты помнишь сюжет из программы новостей? Про нас.

Матвей Иванович кивнул. Он уже понял, что скажет его Лисичка.

— Ты узнал всю эту историю с таинственной «зоной» только потому, что посмотрел его. Ты просто не пришел бы сюда по-другому. Я долго не знала, как тебя позвать.

— А зачем вся эта «социальщина»? — усмехнулся он. — Ты не могла показать все, как есть?

— Как есть? — удивилась она. — В новостях?

— Ну да, — кивнул Матвей Иванович не задумываясь.

— А так ты заинтересовался, — удовлетворенно ответила девушка. Она не любила, когда с ней спорили. — Ты всегда интересовался всем, ты хотел что-то изменить — я тебя таким помню. Таким я тебя полюбила... Правда, ты стал меняться. А после меня... В общем, все могло быть и лучше, — она улыбнулась почему-то виновато. — Но хорошо, что хоть так. Я знала, что в тебе это проснется. Желание узнать.

Матвей Иванович не стал возражать, он смотрел на яркие всполохи в небе — за ними и не было видно, как уходит солнце — наверное, тоже куда-то в свой солнечный дом, встречать новый солнечный год.

— Ну, давай праздновать, — улыбнулся Матвей Иванович, повернувшись к девушке.

— Тебе нужно еще кое-что знать, — произнесла девушка, словно не заметив его слов. — Когда стемнеет, я исчезну.

— Как это? — спросил он глупым голосом.

— Наверное, ты уже видел... — она медленно перебирала слова, словно бузинки на нитке, — как исчезают люди, когда становится темно. И как здесь зажигаются окна.

— У вас тут комендантский час? — рассмеялся он.

- Ну, что-то вроде того. Ночью появляются собаки. Ночные псы.
- Да уж, такое не забудешь. Но я думал, — начал он ласково, — что мне сегодня не придется отправляться домой.
- Ночью нашей силы нет, — ответила девушка. — Но появляется сила псов. Они недовольны чужаками. Они охраняют нас потому, что ночью мы беззащитны. Наверное, ты помнишь... Дома у той женщины. Ты думал, что никого не было в квартире, а утром она пришла. Но она была все время. А псы — они защищают. Поэтому здесь никто не закрывает входных дверей.
- Защищают от чего?
- Кто-то может понять, кто мы, — как, например, ты. Кто-то может навредить нам, снести наши дома.
- Я? Нет, — поспешил откеститься Матвей Иванович. — Чтобы я навредил...
- Но они могут навредить тебе, — сказала девушка. — Они загоняют в серое.
- Загоняют в серое? — переспросил Матвей Иванович.
- Да, — кивнула девушка. — Это их основная задача, когда они встречаются человека. А биты — это так, для устрашения. В твоём случае, — добавила она.
- И что будет, если не выбраться?
- Ничего, — спокойно ответила девушка. — Ты просто растворишься в нем. Просто увянешь. И тебя, в общем, не станет.
- Ну, тогда ладно, — рассмеялся Матвей Иванович. — Тогда все понятно.
- Не смейся, — строго сказала она. — Будь осторожен. Здесь много опасностей — даже там, где ты думаешь, что их нет. Вспомни свое падение. Ты очнулся, выполз и оказался в подъезде. Напротив тебя оказался входной проем. Как ты думаешь, откуда ты мог выбраться именно так?
- Наверное, я чего-то не понимаю, — произнес Матвей Иванович. — Но это...
- Это была шахта лифта, — громко сказала девушка, прерывая его. — Обыкновенная шахта. Только лифта в ней нет и никогда не было.
- Но как? Я же видел, когда заходил туда, видел сегодня.
- Правильно, — торжествующе сказала девушка. — Ты видишь то, что создаем мы. Своим сознанием. Но иногда что-то теряется, признаюсь, — она смутилось. — Однако это не спасет тебя — если ты увидишь там двери, кнопку, да хоть бы и сам лифт. Его все равно не будет.
- Мне повезло, что я привык ходить пешком, — Матвей Иванович пытался шутить, чтобы не чувствовать ужаса.
- Вчера эта шахта спасла тебя, — заметила она. — Не будь ее, ты бы не выбрался из серого.
- Выбрался бы, — вяло сказал Матвей Иванович.
- Нет, — она покачала головой. — Ты бы не выбрался.
- Почему эти псы оказались у моего дома? — спросил Матвей Иванович.
- Караулят. Они тебе ничего не сделают. В обычном городе у них силы нет. Но таким вниманием они оказывают тебе большую честь, — она рассмеялась. — У нас такого никогда не было.
- Чем обязан?
- Они уж очень тобой недовольны. Вчера я ходила в их офис...
- Куда? — подскочил Матвей Иванович. — Какой еще офис?
- Ну, я же тебе говорила, — рассмеялась она. — Что они нас охраняют. Это что-то вроде ЧОП. У вас такое еще есть?
- Такое будет всегда, — мрачно сказал он. — Пока есть что охранять. И от кого.
- Ну вот, — Матвею Ивановичу показалось, что она обрадовалась. — Представь себе ЧОП «Ночные псы». И у них есть офис. Он находится в том доме, во дворе.
- Матвей Иванович почувствовал, как заныло в сердце.
- Я ж там был. Маленький кабинет со столом... И наклейка еще на двери.

— Ага, — сказала девушка. — И им это очень не понравилось.

— погоди, — замотал он головой. — Все это очень смешно, конечно, но когда ты уже остановишься? Когда скажешь, что это какой-то дурацкий розыгрыш? Ну я не могу, не могу во все это поверить. Это слишком абсурдно, так не бывает просто — даже в фантастике, даже в сказках.

— Так ты и не в сказке, — ответила девушка. — Ты в жизни. Мы рядом с тобой, в том же самом городе. И они тоже.

— Но как? Что за псы такие? Что за охранное предприятие, состоящее, черт возьми, из псов?

— Это ненастоящие псы, — терпеливо произнесла девушка.

— Ну да, ночные, — выдохнул Матвей Иванович.

— Да, — сказала она. — Все просто.

— Проще некуда.

— Матвей, — улыбнулась она, — в жизни много странных законов. Странных, если вдуматься, если начать рассуждать. А в повседневной жизни, для каждого человека — вполне обыкновенных. Это просто дано — мы живем в таком мире, где есть такие законы. То, что вода замерзает, например, что птицы поют, что ночью темно... Это общие правила для всех, которые не отменить. И которые никто даже не пытался отменять.

— Ну да, — согласился Матвей Иванович.

— Такие же законы есть и после жизни, — продолжила девушка. — Существуют эти псы. И с этим ничего нельзя поделать. Они просто есть.

— Да у вас здесь просто торжество свободы злого, — неожиданно вспомнил Матвей Иванович. — Победившей свободы злого. О которой мечтал один мой добрый знакомый...

— Где только сейчас это не услышишь, — махнула рукой девушка. — И у нас об этом говорят. Кто-то о ней только мечтает, а кто-то в ней давно уже живет.

— Ладно, — вздохнул Матвей Иванович и взял ее за руку. — Давай забудем это все, давай просто побудем друг с другом.

— Мы не сможем об этом забыть, — она отстранилась. — Уже темнеет. Они соберутся вокруг дома, в подъезде...

— Но я никуда и не собираюсь, — сказал Матвей Иванович. — Мы ведь встречаем Новый год! Придет утро, ты... снова появишься... или не знаю, как здесь у вас сказать. Я снова буду видеть, чувствовать тебя. Или они тоже заявятся сюда?

— Нет, — сказала девушка. — Они будут ждать, когда ты уйдешь.

— Не дождутся, — хмыкнул Матвей Иванович. — Я встретил любимую, я буду с ней сегодня во что бы то ни стало.

— Боже, ты как будто и не вырослел, — рассмеялась девушка. — Ну что ты такое говоришь? Ты уже убедился в их мощи, тебе лучше все сделать так, как они сказали.

— Они... сказали? — переспросил Матвей Иванович. — Кому сказали?

— Сказали мне, когда я ходила к ним. Я просила за тебя, чтоб дали разрешение тебе побыть сегодня здесь. Это единственный случай вообще, понимаешь, вообще...

— Просила за меня?

— А как же... Договаривалась. И это было не так уж и просто, — она сжала губы.

— То есть у вас здесь... Даже после смерти... — он не стал договаривать.

— Они сказали, что ты можешь находиться у меня до ночи. До самого Нового года. Как только он наступит, тебе нужно будет уйти. И больше никогда не появляться здесь. Это их обязательное требование. Иначе все может быть плохо. Совсем плохо.

Он молчал.

— Ну и все, — подвела итог девушка. — Да, можешь не прятаться, не бежать в лес. Когда ты будешь уходить, они тебя не тронут. Если хочешь, можешь уходить сейчас, — добавила она. Потому что уже темно.

— Я встречу Новый год с тобой, — Матвей Иванович взял ее за руку. — Лисичка моя ненаглядная. Все равно с тобой, — он приник к ее губам, и девушка поддалась на какое-то время, растаяла в его объятиях и принялась ему что-то шептать на ухо, какие-то нежные и легкие слова, которых он никогда не слышал, о которых не знал, что они существуют, и ласковые глаза смотрели на него, полные тепла, какое рождается у людей только в момент увлеченности друг другом, когда каждый открывает в другом — себя и другого — в себе. И кажется, только вчера он смотрел в эти глаза впервые, понимая что-то важное, определяющее для него все, что случится потом, в эти хитрые «лисы» глазки, — и вот он смотрит в них снова, а ведь прошла жизнь. И почему-то вспомнилась Варенька, простая девушка из сна. В ее глазах он видел тот же самый, едва уловимый свет — да это и не свет вовсе, не блеск, тем более и не сам взгляд. Это можно было бы назвать огоньком, искрой, которая вспыхивает от внезапного чувства к другому, но это и не искра, и не огонек. Это что-то на поверхности, как маслянистое пятно на глади прозрачного моря. Кто бы думал, что влечение друг к другу, лучшая из человеческих страстей, воспетая, но так и не разгаданная, — это лишь какое-то маслянистое пятно? Смешно? Возможно. «Да и при чем тут Варенька? — недоумевал Матвей Иванович. — При чем тут эта глупая Варенька?.. В жизни есть свои законы, — внезапно вспомнил он недавние слова любимой. — Есть “дано”. Есть этот огонек — для тех, кому не нравится пятно, — и он один. Во всех глазах на свете».

— Включим музыку? — прервала она.

— У тебя есть на чем слушать пластинки? — удивился Матвей Иванович.

Она указала на радиолу под самой елкой, возле коробки с подарком. Матвей Иванович готов был поклясться, что не видел ее, когда приходил, он даже открыл рот, чтобы это сказать, но тут же все понял.

— А это мой подарок, — улыбнулась она. — В шкафчике есть старые пластинки. Покопайся там.

Матвей Иванович встал и бросил взгляд в окно — вечер вступил в свои права, и в соседнем доме один за другим зажигались окна. Из подъезда послышался шум — тяжелые шаги боевых псов, заступавших на дежурство. Он посмотрел вниз, во двор, и увидел темные фигуры в капюшонах, медленно и тяжело шагавшие по двору. Кто-то направлялся к подъездам, кто-то занимал позиции во дворе, на входе в «Дом быта», в проеме между домами. Последние люди спешили домой — унылые, согнувшиеся тени. Куда они спешат? Откуда? С прогулки вокруг карьера? Есть ли у них Новый год? Счастливы ли они здесь? — неожиданно подумал Матвей Иванович и отошел от окна, открыл шкафчик. Пыльные пластинки лежали, сложенные в огромную стопку, как будто бы хранились здесь с тех времен, когда она была девочкой, только-только начавшей осознавать себя и мир. Ей пели про то, как жить честно, как верить в любовь и бороться, она слушала и пела потом сама. Пел и Матвей Иванович — вернее, подпевал. Это потом, когда без нее становилось совсем грустно, — и пел.

— Я буду скучать, — произнес тихий голос, и Матвей Иванович вздрогнул, оторвавшись от пластинок, и бросился к дивану. Он вспомнил что-то страшное, и вспомнил это поздно. В комнате было пусто.

Матвей Иванович ощутил внезапный холод и желание бежать — плевать на псов, плевать на Новый год, на пластинки, — просто бежать. Пустота пугает больше, чем присутствие страшного. А страшнее всех пустот — та, что открывается на месте, где только что был твой любимый человек.

«Нельзя уходить, она здесь, — шепнул Матвей Иванович и с удивлением обнаружил, что изо рта его идет пар. — Просто верь в то, что она здесь. Ты пришел встретить Новый год с ней», — убеждал он себя.

— Я встречу! — сказал он громко. — Мы встретим.

Никто не отвечал ему. Он вернулся к шкафчику, достал пластинку из коробки, сдул с нее пыль. «Как новенькая», — подумал Матвей Иванович и даже покачал головой от удивления.

Теперь ему было все равно, что происходит за окном, в подъезде, на его бывшей работе — да все равно где, хоть бы в его голове или жизни, — он встретит

Новый год счастливым. Оттого что она где-то рядом, оттого что играет придуманная ею пластинка — придуманную кем-то другим музыку. Придуманную для них.

Я хочу быть с тобой,
Я так хочу быть с тобой,
И я буду с тобой.

Когда-то они слушали песню как гимн всех влюбленных — каким она и была, — не вдаваясь ни в смысл, ни в трагизм исполняемых строчек. Тексты песен не так и важны, когда ты молод, рядом твоя девушка и море. Плеск волны всегда звучит важнее всех слов — и громче, и нежнее, и откровенней.

Твое имя давно стало другим,
Глаза навсегда потеряли свой цвет.

Он пытался слушать — и слышать песню такой же, какой она была много лет назад. Он сидел на диване, крепко сжав руки, и смотрел на мигающую гирлянду — а вдруг этой гирляндой, частотой ее миганий, периодичностью цветов, как какой-нибудь азбукой Морзе она пытается сейчас ему что-то сказать? А может, подпеть? Но он ведь не знает ни азбуки Морзе, ни языка гирлянд, если такой уже кто-то придумал. Ему сорок пять лет, и он знает лишь то, что читал в толстых журналах. И эти знания копятя в нем, как пыльные пластинки, складываясь в стопку, — пока кто-нибудь не вытащит их, чтобы протереть или послушать, или полка не рухнет под тяжестью. Вроде столько всего прочитал, а ничего не узнал, не понял, только все больше запутывался — как провода сматываются в клубок, который потом только резать или выбрасывать — ну а зачем и в самом деле он нужен? И этот клубок, как в забытой сказке, привел его сюда, в «особо охраняемую зону», — где то, что было невозможным, смогло стать реальностью, но реальностью странной, безумной, не поддающейся осмыслению. Реальностью, в которой остается только закрыть глаза и слушать. И может быть, тихо петь.

В комнате с белым потолком,
С правом на надежду.
В комнате с видом на огни...

Он очнулся от забытья, в которое погрузила песня, и бросил взгляд в окно: все так же кружили по небу, как огромные бабочки, яркие разноцветные пятна. Матвей Иванович ничему не удивлялся и ничего не пытался понять. В окнах соседнего дома горели огни. Наверное, все-таки празднуют, подумал он. Да и может ли быть иначе? Новый год — это праздник бессмертия, живой, жизнеутверждающий праздник, может, его смысл именно в том, чтобы каждый знал: жизнь — это бесконечное обновление, за новым приходит старое, что-то умирает, а что-то появляется, но ничто не бывает просто так. Новое невозможно без старого, и ничто не становится старым, пока не придет новое. А новое приходит всегда. Вот уже совсем немного времени осталось, и, что бы ни замыслили злые ночные монстры, он встретит свое Новое здесь. Потому что именно здесь сошлись все пути его жизни. Кто знает, почему так? «Это просто дано», — вспомнились слова любимой.

«Да и мы сами как собаки, — отчаянно подумал Матвей Иванович. — Влюбленные, одинокие. Как собаки, ей-богу», — повторил он. Ему вспомнился сон, и сделалось так стыдно, что хотелось сжаться в комочек, замереть, застыть на полу и не шевелиться. Хотелось плакать, но ведь она где-то рядом. Она видит. «Может, если бы не та ночь в Крыму — роковая, — и все остальное не сложилось бы так?» — корил себя Матвей Иванович, и мыслей этих стало так много, так тяжелы, невыносимы они стали, что он закричал — помимо своей воли, изо всех своих последних сил, во всю мощь своего голоса.

— Прости меня, прости, моя Лисичка! Прости меня!

Получив от «пьяного врача» известие, Матвей Иванович сразу же с ним свылся. Говорят, что многие не верят в смерть любимых, отказываются или же просто физически не могут — не слишком предназначен человеческий организм для таких событий. Но Матвей Иванович смог. Он понял, что ее больше не будет никогда, и жил, ходил по улицам, читал журналы, впоследствии стал учиться и выучился на архивиста, затем стал работать. Время шло, и годы летели, и мир стал неузнаваем, а Матвей Иванович не менялся. И не хотел ничего знать. Однажды, ощутив, что не сможет избавиться от воспоминаний, он написал свое первое письмо ей. За номером 001. Годы, которые прошли между их последней встречей на почте и теперешней, ничего не принесли Матвею Ивановичу — стремительной новой жизни, которая проехала по его прошлому (да что там, разве только его?) катком, он так и не понял.

— Они сейчас пишут в журналах, что это время, эти «девяностые», — оно исчерпало себя, что о нем писать нечего, — заговорил Матвей Иванович, словно бы рядом с ним находился внимательный собеседник. — Но что делать, если на него, это чертово время, пришлась жизнь? Едва успел ощутить, почувствовать себя взрослым, а уже потерял и любимую, и страну. И вообще все ориентиры в жизни. Куда было идти в этой пустоте? А жизнь шла. Да так и прошла ведь! Столько потом всего вокруг стало, столько всего появилось, но только уже не надо, неинтересно все это. Потому что не понимаешь, зачем это вообще нужно. А я смотрю на все взглядом оттуда, из самого конца «восьмидесятых», наших «восьмидесятых» — ведь мы их поймали, ухватили с тобой за хвост. Я смотрю с того берега в Крыму, где все начиналось. И казалось, что так хорошо начиналось!

Родители Матвея Ивановича уехали в деревню, город не нравился им. Он проводил их и снова приехал в город. Что стало с ее родителями, он так никогда и не узнал.

— И только журналы эти остаются, — продолжал Матвей Иванович, словно его прорвало. — Как будто и не было всех лет и не будет... Как будто нет вообще никакого времени и их где-то в космосе выпускают. А мы с тобой, я и ты, — подвластны времени. Мы остались там, душами — там, где навсегда сохранилось счастье! Для нас с тобой не было всех этих лет, следующих, и как же, как же это хорошо! А мое тело потянуло в следующие годы, в следующие эпохи. И оно болталось, тряслось там, плелось... И ничего-то, ничего о них не сказано! О «девяностых» этих. Все они — это я. Моя жизнь, взрослая жизнь, жизнь после любви, после жизни... Обо мне ничего не сказано, о моем плетущемся теле... Ни слова.

Он прислушался и понял, что в комнате завывает ветер. Как в той первой квартире, куда он угодил, убегая от псов. «Я один здесь, один, один, — жалили мысли. — Один перед Новым годом».

— С праздником! — произнес Матвей Иванович. — С праздником, моя дорогая! Главное — это, знаешь... Может быть, мы еще не сказали последнего слова, проведя годы в унынии, чтении как последней отдушины, поиске каких-то истин... Или как ты — на отшибе, в «анклаве», как ты говоришь. Мертвая! Боже, подумать только! Ведь раньше и после смерти нам обещали другое, — он рассмеялся, но механически, как робот, как Бездушная машина в телефонной трубке. — Ну так что же? Может быть, сейчас приходит такое время? Когда это можно сказать. Только кто это сделает, как?

Он прислушался к ветру, и его уха коснулся тихий голос, словно издалека, из морской раковины, сквозь время и расстояние:

— Я уже не могу, а ты сможешь! — с ним говорила она, она! Он не мог ошибиться.

— Но что я сделаю? Что?

— Просто будешь жить, — накатила волна в ухо. — Просто жить, когда другие не живут. Когда другие сдались, не поняли. Просто жить — это знаешь как сильно! Нет, пока ты не знаешь...

За стенкой слышались крики, хлопки, словно пробки взлетали в воздух. Кто-то смеялся, кто-то кричал, взбудораженный, яркие и сочные слова, и только сурово стояли у двери фигуры с пустыми капюшонами. Его время закончилось.

— С Новым годом! — улыбнулся Матвей Иванович. — Счастья тебе!

— Нам, — уточнил голос, и Матвею Ивановичу показалось, что кто-то дотронулся до его плеча, чья-то рука, легкая и нежная. Как снег, первый в Новом году снег.

1 января

Из окон, прижав носы к стеклу, смотрели люди. Много людей — они были в каждом окне. Все жители «особой зоны» вышли провожать странного гостя, и кто-то даже махал рукой ему вслед. Шагая по свежему снегу, Матвей Иванович чувствовал на себе их тяжелые взгляды, но в них не было осуждения, агрессии, неприязни, как не было и других, противоположных чувств — понимания или поддержки. Ими двигало любопытство — то, что движет и всеми другими людьми и многих мотивирует жить новый день, когда других мотиваций давно не осталось. И как мир мертвых всегда был и будет любопытен живым, так и появление живого в мире мертвых просто не может не вызывать любопытства.

Но Матвей Иванович не мог видеть их. Куда сильнее его тревожили ночные псы, фигуры в капюшонах — они как фонари выстроились вдоль пути, по которому предстояло прошагать нежеланному гостю «зоны» до покосившегося забора. И, украдкой поглядывая на них, Матвей Иванович думал, что, должно быть, кроме «живых» и «мертвых» существуют еще какие-то состояния, которые не объяснить, не осмыслить. И раз существует третье состояние — в виде тех же «псов», — то наверняка есть и другие — не пограничные или производные от все тех же смерти и жизни, а просто другие. Эта мысль не относилась к тем, что греют сердце, тем более что «третье состояние», о котором думал Матвей Иванович, окружало его и было явно недружелюбным. Однако псы помнили обещание и, пока Матвей Иванович не нарушал их требования, агрессии не проявляли. И даже не пытались «загнать в серое», чем пугала Лисичка и чего он сам опасался больше всего. Ведь что им стоило?

Проходя мимо карьера, он решил остановиться возле заброшенной ржавой машины с ковшом и вопросительно посмотрел на псов. Но фигуры в капюшонах стояли, не выражая эмоций, как истуканы на острове Пасхи. Матвей Иванович взглянул на небо в надежде увидеть яркие праздничные всполохи, каких никогда не встретит в городе, но небо было самым обыкновенным — черное, лунное, облачное и потому беззвездное. С неба мягкими хлопьями сыпал снег.

— Выходит, это я придумал? — рассмеялся Матвей Иванович. — Ты была права, Лисичка.

Он потер ладони и поднес ко рту, пытаясь согреть дыханием. Становилось очень холодно. Может, «зона» морозит специально, чтобы быстрее уходил, — предположил Матвей Иванович.

Он посмотрел на замерзший карьер и вдруг ощутил какую-то странную, необъяснимую тоску. Вот окажись он здесь — не гостем, а жителем, попади сюда помимо своей воли, просто потому, что так сложились трагические обстоятельства, — он бы ходил по двум дворам, а вечерами заглядывал сюда побродить вдоль большой лужи и не имел бы возможности даже выписать журнал. А что здесь делает она? Неужели сидит дома — все эти двадцать пять лет? Да и как о ней скажешь «сидит»? То, что видел он, Матвей Иванович, было лишь проекцией ее сознания, ее потусторонней воли. А где на самом деле она и где все эти жители, когда лишаются физического воплощения? И лишались ли они его намеренно — ведь так, наверное, еще скучнее, еще тоскливее?

Матвей Иванович подошел к карьере ближе и прищурился. Ледяная поверхность была изрезана глубокими линиями, сплетающимися в бесформенный

узор. Он не сразу понял, что это, и, только когда развернулся, чтобы пойти обратно, внезапная догадка поразила его: это же каток! Жители «зоны» используют этот карьер как каток, удивился Матвей Иванович, вот это да!

— Выходит, летом вы здесь купаетесь? — усмехнулся он, обращаясь к ближайшему псу, больше было не к кому. И тут же понял, что уж к ним, к охранникам, такое предположение точно не относится. Он махнул рукой и двинулся дальше — до выхода оставалась пара шагов.

— Все то же самое, — пробурчал Матвей Иванович. Увиденное было для него откровением. — Летом — карьер, зимой — каток. Зачем умирать?

Он не стал прощаться с псами, даже поворачиваться к ним. «Насмотрелся», — подумал Матвей Иванович. Те ответили взаимностью, не шевельнувшись, не издав ни звука. Требование было выполнено, «объект» покинул пределы «зоны», теперь все нормально, отбой. Он шел по знакомой снежной пустыне, перебирая ногами и перебирая в памяти фрагменты прожитого дня.

«Вот ведь как получается, — размышлял Матвей Иванович. — То, что нас не убивает, не делает нас сильнее. А то, что убивает, всегда властвует над нами». Он вспомнил слова девушки и в который раз ужаснулся их простоте: ты умер от собак и попадаешь в мир, где тебя стерегут собаки. Вот все, что, собственно, стоит знать о смерти. И мир этот может быть даже не просто рядом — а здесь же, в твоём же районе.

Матвея Ивановича с детства терзал вопрос, куда он попадет, когда все это — так он исчерпывающе характеризовал жизнь — кончится. В тот год, когда он потерял свою Лисичку, по квартирам ходили проповедники и рассказывали неподготовленным добродушным гражданам небылицы. Одну из них он запомнил на всю жизнь: вот смотришь ты «Терминатора», говорил проповедник, после смерти за тобой придет Терминатор, смотришь «Чужого» — Чужой. Ибо все это грех. Молодой Матвей не смотрел эти фильмы, но даже он смеялся над таким «пророчеством» и над сектантом в строгом костюме, стоявшим возле двери. Смеялся искренне, от души. И даже не знал, как в общем-то близка истина к этому самому абсурдному из всех допущений о «той» жизни, приходивших в людские головы.

Матвей Иванович нес в себе по снежной пустыне, а затем и по улицам города еще одно сокровенное решение. Он больше не будет писать письма. История с открытым финалом, начавшаяся двадцать пять лет назад в совершенно другой стране, становилась теперь и историей из другой жизни. Его жизни, но другой. Которая спустя столько лет пусть неожиданно, пусть мистически, пусть и совсем не красиво, но наконец закончилась. Они сказали друг другу все и сделали все, что могли. Они не были боги, как пелось в другой песне с той же старой пластинки, откуда им знать про добро и зло?

Он знает, где она. И знает, что все хорошо.

Свернув на свою улицу, Матвей Иванович уже издали увидел троллейбус. Тот так же стоял здесь вчера, когда он выезжал на такси из двора, а может, находился здесь все эти дни — он почему-то не обращал внимания. Не подключенный к току и заснеженный, словно уснувший, он напоминал заброшенную технику в «зоне» — все эти экскаваторы, катки и что-то совсем незнакомое Матвею Ивановичу. Но этот троллейбус был роднее, что ли: ведь именно в нем (а может, просто так хотелось думать?) он приехал домой двадцать седьмого числа, когда все было таким легким и беззаботным. Чудесное свойство прошлого — самые тяжелые времена вспоминаются с ностальгией: «Как было прекрасно!» А ведь что произошло, если вдуматься? Ничего, только прошло время. Совсем немного времени. Но красивый троллейбус стоял, почти заваленный снегом, и рядом с ним под тяжелыми белыми покрывалами — несколько машин — таких же спящих. Мир замер, люди отгуляли, отпраздновали, отжелали друг другу всего, что только могли, и вернулись домой. Наступало утро. Матвей Иванович бросил последний взгляд в сторону завораживающей картины и повернул за угол.

Эй, пес, ты давай-ка послушай сюда, сука,
О том, как реальнее стать
И что вообще делать надо,
Чтобы не жить пидаром в муках...

Внезапный контраст услышанного с его лирическими мыслями испортил Матвею Ивановичу настроение, вернув в поганую реальность. Возле подъезда сидели парни в странных, космических, как казалось Матвею Ивановичу, разноцветных костюмах и занимались любимым делом — убивали время. Разве что делали они это теперь по-новогоднему — передавали по кругу бутылку шампанского. Матвей Иванович решил пройти мимо них быстрее, но не получилось. Сделав шаг, он наткнулся на что-то живое и подвижное и от неожиданности чуть не упал. Мохнатый пес, больше похожий на комок грязной и слипшейся шерсти, прыгал вокруг него и норовил испачкать выглаженные брюки. Парни, глядя на это, смеялись, но расслабленно и беззлобно.

— Ну чего ты? Чего? — Матвей Иванович растерялся и не знал, как ему быть. Общение с собаками никогда не приводило ни к чему хорошему, но сейчас от вида прыгающего комочка он почему-то подобрел и вдруг почувствовал себя глупо. — Пес! А, пес! Ну, иди сюда. Ты тоже, что ли, этот — ночной?

Комочек издавал радостные звуки, Матвей Иванович ему очевидно понравился. Вот только чем? Когда это он любил собак?

— Ну, пойдём, — произнес Матвей Иванович растерянно. — Что ж мне с тобой делать-то, а?

Они дошли до подъезда, и уже возле самой двери, ковыряясь в карманах в поисках ключей, он услышал голос, показавшийся очень знакомым.

— Вот ты и пришел, а то мы уж заволновались!

Матвей Иванович неуверенно повернул голову и увидел знакомую старушку из троллейбуса. Она доброжелательно смеялась.

— Здравствуйте, — пробормотал Матвей Иванович. — А вы что же, здесь живете?

— Да, вот представляете! — воскликнула она. — Живем-то рядом и никогда не виделись.

— Да я в основном, — попытался объяснить он, — ни с кем не вижусь. Да, с наступившим! Как ваши дела?

— Да какие дела? — сказала старушка. — И дел-то никаких у меня нету, только что вот песика пристроить. Уезжаю я отсюда! В город, где нет метро.

— К родственникам? — тупо спросил Матвей Иванович, рассматривая пса. Тот вилял коротким хвостиком и заглядывал в глаза.

— Ага, — кивнула бабушка. — А как здесь проживешь? Вот этого только девать некуда. Возьми, а?

Послушай сюда, короче, ты меня-на,
Как превратиться из пса е...ого
В реального пацана...

Матвей Иванович снова бросил взгляд на парней. К одному из них подходила девушка — она была в аккуратной белой шапочке и больших пушистых варежках. Девушка обняла своего парня, и сквозь речитатив он все же услышал:

— Привет, любимая.

— Ну, решайся, — старушка ласково взяла его за руку. — Вдвоем-то — оно веселее. Киснуть перестанешь! Таких людей, как ты, уже давно в архив сдали, — снова рассмеялась она. — Ты последний экземпляр!

— Да? — растерянно переспросил Матвей Иванович. — А меня, наоборот, из архива выгнали.

— И что ж теперь делать будешь? — сочувственно спросила старушка.

— Не знаю, — ответил Матвей Иванович с безразличием в голосе. — Буду смотреть вакансии для бестолковых людей.

Он помолчал, снова глядя на мохнатого пса. Тот, почуяв внимание, снова прыгал, засуетился.

— Слушайте, а где вы работали промоутером? Дайте адресок.

— Да ради бога! У меня вот листовка осталась — на, держи. Ну так что с песиком-то, возьмешь? Девать его некуда, — снова начала бабушка, и Матвей Иванович неожиданно для себя прервал причитания громко и твердо:

— Беру.

Будь пацаном вывози за базар,
Будь пацаном реальным, братан! —

услышал Матвей Иванович и снова повернулся к компании, но уже без страха, с интересом. К ним присоединился новый человек — парень в костюме Деда Мороза, с густой белой бородой. Похоже, он всех дико веселил. Компания шумно обсуждала планы, куда отправиться, кого встретить, — новогодние празднования для них, похоже, только начинались.

«А может, и есть в них что-то, что мне так нужно?» — с тоской подумал Матвей Иванович. Эти парни так же молоды, как когда-то он сам в то время, которого ему теперь не хватало. Как были молоды и те, с кем свела безжалостная случайность возле ночного моря, сломав всю остальную жизнь. Между теми и этими — время, как толща черной воды. Но что отличает их? Как дикие псы-монстры из «зоны» не похожи на дрожащую у его ног собачонку, так и те парни из прошлого — совсем не такие, как эти. Все дикие псы стали домашними — вот итог времени, минувшего с той поры. Но не только это. Те, кто мог быть просто домашним, — стали тоже немного псами. Две линии жизни, две модели человеческого поведения встретились и переплелись, образовав единую модель, по которой только и стало можно жить. И дикие псы, и домашние люди — время и тех, и других прошло.

Короче, если ты пес, сука, хочешь
быть таким же, как этот пацанчик... —

неслось вдогонку Матвею Ивановичу, закрывавшему дверь подъезда. Бабушка улыбнулась на прощанье, и они остались вдвоем: он и странное пушистое существо, которое смотрело огромными глазами, высунув язык, и словно чего-то ждало.

— Давай посмотрим почту, — серьезно сказал Матвей Иванович и открыл ящик. — Журнал пришел, — сообщил он псу. — Называется «Счастье».

На самом деле содержимое ящика его сильно удивило. Он никогда не выпускал журнал «Счастье», а тот, как ему казалось, никогда не был бесплатным. Хотя чем черт не шутит — Новый год все-таки, «Счастье» так «Счастье». На обложке были две елочные игрушки — красное и синее сердечки.

Дома он налил чаю и открыл на кухне окно. Уже всю светало, но на небе еще виднелись луна и звезды, проступая из-за облаков. «Вот так, — подумал он, дую на чай, — мы, оказывается, настолько рядом, под одними звездами, под одной луной... Неужели все так и должно быть, неужели именно так — правильно?»

Пес твякнул, и Матвей Иванович бросил тоскливые мысли.

— Может, ты на меня нападешь, покусаешь? И я помру да возьму и попаду к ней. Хотя какой из тебя...

Он подошел к раковине и налил воды в миску. Пес нетерпеливо замахал хвостом и заскулил.

— Ну что ж, будем жить, — сказал Матвей Иванович тихо. — Будем жить.

Перед сном Матвей Иванович положил журнал «Счастье» возле лампы и лег, впервые за долгое время сняв очки. Но, поворочавшись какое-то время, снова надел их. Новый жилец квартиры — мохнатый пес, которому Матвей Иванович не стал придумывать имя, лежал возле кровати на старом свитере, который по-

жертвовал ему хозяин. Во сне пес похрапывал, и Матвей Иванович поймал себя на мысли, что испытывает странное, незнакомое раньше чувство — нежность. Не к любимой женщине, а просто к живому существу. Матвей Иванович взял в руки журнал и принялся листать. Один из разворотов привлек его внимание. «Счастье — это жить в реальности», — гласил слоган на развороте. Вроде бы и реклама, а непонятно, что рекламируют, задумался Матвей Иванович. Может быть, саму жизнь? Но она разве нуждается в рекламе? Почему бы и нет, ведь не все успели распробовать. А кто-то так и не успеет...

— Так и быть, после праздников оформлю подписку, — зевнул он и окончательно отложил журнал.

Завел будильник. Хотя планов совершенно никаких не было, Матвей Иванович не хотел проспять весь день. Целый день жизни. Да и нужно будет прогуляться — теперь это предстояло как минимум дважды в день.

— Главное — встать, — сказал себе Матвей Иванович, глядя на спящего пса. — Все правильно я сказал тогда. Нужно только, чтобы кто-то протянул руку. А дальше — сам.

Он вспоминал прохожего — странного человека, пытавшегося подать ему милостыню в тяжелую минуту, когда у него не было сил идти дальше, и он просто сидел, прислонившись к забору. Тогда ему казалось, что жизнь кончена. Что стоит закрыть глаза — и наступит вечная черная мгла, в которой уже никогда не воссияет солнце.

«У него были такие странные глаза, — думал Матвей Иванович, засыпая. — И он так был похож на меня. Только... — он напрягся, силясь вспомнить лицо прохожего. — Безумнее, что ли. Наверное, больше прочел журналов. — Вспомнил, как толкнул спасительную дверь за доли секунды до удара, как очнулся на дне бетонной шахты и жадно осознавал, что живет, как проходил через строй монстров, прощаясь с «зоной». — Такой может и не вернуться».

«Но он мне помог встать, — мелькнула последняя мысль перед погружением. — А значит, и он — не зря».

— Сегодня там шел дождь.

— Где?

— За окном вагона. Когда я ехал. Такого еще никогда не случалось. Там всегда было солнечно, на набережной.

— Сегодня и тоска, и скучно, и грустно, — зевнул врач. — Знать, день такой. Ну, вот и у вас дождь.

Матвей Иванович молчал. Помощница врача мельком взглянула на него и кивнула. Но тоже ничего не сказала. Коньяк в бутылке на столе приближался к концу, как и время посещения. Пациент собрался уходить, но в то же время его терзало странное чувство недосказанности, незавершенности. Он смотрел то на врача, то на женщину, старательно заполняющую какие-то очередные бланки, и пытался облечь свои мысли в слова. Но ничего не получалось.

— Вообще, это дождь очищающий, — произнес врач, хлебнув из бокала. — Ну, я считаю. Дождь — он смывает все. После дождя дышится легче. Это символично, — он широко улыбнулся.

— Меня уволили с работы, — тихо сказал Матвей Иванович.

— И это символично! — подхватил врач и махнул рукой. — В жизни символично со-вер-шен-но все!

Похоже, что в этот раз он напился сильнее обычного, но деликатный Матвей Иванович старался не выдать, что понял это.

— Увольнение — прекрасный повод начать новую жизнь! — воскликнул врач. — Вот, наша красавица подтвердит!

Помощница посмотрела на него укоризненно, но снова промолчала. В кармане Матвея Ивановича завибрировал телефон, он достал и прочитал сообщение:

«Вы вышли из зоны Полной луны».

Оповещение — тот, к сожалению, частый тип сообщений, который никогда не радует. Мы знаем, что они неизбежны, что они в определенные моменты всегда приходят, но всякий раз забываем о них, ждем чего-то интересного или важного. И, только увидев на экране знакомое обращение безликому «уважаемому абоненту», понимаем, что нас опять обманули, зря отвлекли, — ведь можно было не читать, не предпринимать всех этих суетливых манипуляций с телефоном. Матвей Иванович, правда, ничего важного не ждал, но и про оповещения, как всегда, не вспомнил. Он вздохнул и снова спрятал телефон в карман брюк.

— Небось, поклонницы пишут? — не унимался доктор, и Матвей Иванович криво усмехнулся. — Вы мне все больше нравитесь. Нет, правда!

«С каждым плотком все больше, наверное», — подумал пациент, но сказал тихо:

— Чем же обязан?

— В вас стало меньше страха, — сказал врач. — Больше, я бы сказал, осмысленности.

Матвей Иванович кивнул, мысленно удивившись тому, что услышанное его не смутило.

— Похоже, страх перестает работать так же, как и отчаяние — когда его становится слишком много. Что-то срывается, какой-то предохранительный клапан. Там, в «зоне», страх стал нормой, и что-то хоть немного похожее на привычную реальность удивляло уже сильнее, чем те же псы...

— Псы — это, конечно, сильный образ, — протянул доктор. — Для вас собаки всегда были предвестницами беды. Травма молодости, — он уверенно покачал головой. — И тут они вырвались, словно из бездны, где хранились все эти годы, как карточка с воспоминанием. Чья-то рука ее вытащила. Вы думаете, это просто так, случайность? Я бы не был в этом столь уверен.

— Я тоже, — задумчиво произнес Матвей Иванович.

— Псы нового мира! — громко воскликнул врач. — Безжалостные и молчаливые псы, не охотники, не солдаты — охранники. Нового порядка, новой, так сказать, жизни. Вы же пропустили всю эту жизнь. А другой у нас для вас нету, увольте, — он пьяно рассмеялся. — Ну, это не я говорю, это эти... собаки... псы то есть. Ночные. И всех вас, оставшихся, схоронившихся, с журналами этими вашими, выгоняют битами из ваших укрытий, вгоняют, как вы говорили там, в серое... Ну, что скажешь! Время такое, время без лиц. И без слов. А в ваших журналах одни слова, тысячи, миллионы слов, и вы становитесь этими словами — вы перестаете быть Матвеем Ивановичем, вы становитесь журналом «Зеркало» ходячим. Понимаете?

— Вы знаете и такой? — пациент удивился.

— А что, и такой есть? — расхохотался врач. — Я наугад сказал... Ну, помните наш разговор про души?

Матвей Иванович кивнул.

— Я вот коньяк уважаю, как вы, наверное, изволили заметить, — он усмехнулся глупо и икнул. — А есть люди, которые пиво хлещут. Лягут на диван и заливаются. Я им всегда говорю: «Тот, кто пьет пиво, тот сам становится пивом». — Он помолчал, дав возможность прочувствовать сравнение. — Так же и с вашими журналами. Это такое пиво — все ваши журналы. Светлое, нефiltroванное пиво. Оно позволяет залипнуть, позволяет не так остро все ощущать. Обволакивает вас, — он сделал страшные глаза, — и растворяет!

— Мне кажется, все эти рассуждения ваши... про псов, — Матвей Иванович не хотел развивать разговор о пиве, сравнение с которым приятно интеллектуального чтения его немного раздосадовало. — Это и есть ваша свобода злого. О которой вы так мечтали.

— Вы ничего не понимаете в свободе, — замотал головой врач. — Вам в ваших журналах кричат о ней с каждой страницы, но проблема в том, что они и сами не знают там, что это.

— По-вашему, свобода — это агрессия? — удивился Матвей Иванович. — Биты? Капюшоны?

— Нормальный человек, — задумчиво произнес доктор, — по природе своей агрессивен. Заряжен агрессией. Но некоторые считают, что общество подавляет эту агрессивность в человеке, что он вынужден поэтому притворяться — улыбочивым коллегой, примерным семьянином. Врачом, например, — он улыбнулся. — Но это не так. В нормальном человеке есть и то, и то. И стремление быть добрым, и стремление быть агрессивным. И поэтому нас удивляет поведение людей, которых мы, казалось, знаем очень хорошо. А все почему? В каждом нормальном человеке есть потребность и во зле, и в добре. И он реализует эти потребности в зависимости от ситуации, где-то одну, где-то другую. Но обе они ему необходимы, и обе стороны одинаково есть он сам.

— А что же я? — растерялся Матвей Иванович. — Я, выходит, тоже?

— А вы — исключение, — захохотал врач. — Единственный такой на свете.

— Но я не замечаю за собой такого...

— Скоро заметите, — кивнул врач. — Вы не сможете не заметить после всего, что случилось. Собственно, в этом и был смысл. Как я, в меру своих скромных знаний, все это понимаю. Ведь что-то же вам всем, оставшимся в своих «восьмидесятих», нужно делать. То время никогда не вернется — у него нет шанса. А вот у вас он есть. Просто нужно шагнуть: отсюда — сюда.

Не дожидаясь ответа, он потянулся за бутылкой.

— Кажется, есть отличный повод выпить. Выпить за нашего прекрасного Матвея Ивановича. — Он поймал осуждающий взгляд помощницы и повернулся к пациенту: — За то, что вы, дорогой наш, на сорок шестом году жизни прямо на моих глазах, можно сказать, и при непосредственном моем участии делаете удивительнейшее открытие! — врач поднял бокал. — Что от жизни нельзя отстраняться, необходимо принимать в ней участие. Что бы ты ни делал — это всегда будет лучше, чем ничего.

Сказав это, он выпил и крикнул.

— Всё не так просто, — сказал Матвей Иванович.

— Еще бы, — хохотнул врач. — Для человека, за свою жизнь перечитавшего столько толстых журналов, и в туалет-то сходить не бывает просто. Признайтесь, а? — игриво спросил он.

— Неизвестно, за кем правда, — продолжил Матвей Иванович, не обращая внимания на ироническую реплику. — В конечном счете. За тем, кто бежит, куда-то гонится, за тем, кто за что-то борется, за тем, кто с битой, или за кем-то еще. Земля всех съест, переварит. Земля никуда не торопится и ни с кем не борется, да и кому придет в голову бороться с землей? Она просто есть, и все. Но она сильнее всего на свете.

— Ну, так будьте землей, — сказал врач. — Выбор не так уж важен. Главное — осознать себя участником. Земля — участник, вот вам и объяснение. Она не наблюдатель. Не читатель, — добавил он. — Земле все равно, признает ли ее кто-то землей. Назовет ли ее кто-то так, даст ли добро, вручит ли удостоверение за подписью какого-нибудь умного землеведа, пожмет ли как дружественную руку какую-нибудь торчащую из нее корягу. Земле все равно, кто ходит по ней с битами, а кто слушает песни во дворе. Земля, наконец, вертится. И не прекращает этого делать из-за того, что кого-то не стало, — на этих словах Матвей Иванович вздрогнул. — Она переваривает, вы правильно сказали. И делает это никак не двадцать пять лет, а гораздо дольше. Гораздо!

Матвей Иванович сидел ошеломленный, словно его ударили по голове.

— Хочешь жить — умей вертеться, — улыбнулся врач, довольный пришедшей на ум фразой. — Так ведь любили говорить во времена вашей молодости? Так что, — он снова поднял бокал, — вертитесь!

— Может быть, хватит уже пить? — не выдержала помощница. — Невыносимый вы человек, ей-богу! Пациент же у вас!

— Нет, ничего страшного, — Матвей Иванович встал, засуетился. — Я, пожалуй, пойду. Спасибо вам.

— Я думаю, ваша история закончена, — сказал врач. — Лечить вас больше не нужно. — Он вздохнул, собираясь с мыслями. Коньяк ударил в голову, и он поду-

мал, что, наверное, в нарушение традиции сегодня именно он, а не Матвей Иванович потеряет сознание и упадет. С пациентом нужно было срочно прощаться, пока этого не произошло. — Не забудьте оплатить в кассу, — добавил он.

— Помню, помню, — сказал Матвей Иванович у двери. — Бесплатная медицина мне даже не снится.

Он тихо прикрыл дверь и сделал уже несколько шагов по коридору, постепенно погружаясь в свои мысли, как его окрикнули. Помощница врача зачем-то выскочила из кабинета и теперь жестами просила пациента вернуться.

— Вот вам номер, — она сунула в карман Матвея Ивановича смятую бумажку. — Это вам Варенька передала, — опередила она вопрос. — Вы позвоните ей, девушка-то хорошая, веселая. На черта ей этот алкаш бородатый, — на этих словах женщина выразительно поморщилась.

Матвей Иванович стоял, не зная, что сказать.

— Свозите ее в Крым, она там никогда не бывала, — бормотала женщина, опустив почему-то глаза в пол.

— Да я... — пытался вставить Матвей Иванович. — Да мы даже...

— И подарите ей какой-нибудь подарок, — продолжила она, не слушая. — Знаете, в красивой коробочке такой, обвяжите ленточкой... Она любит такие подарки!

Матвей Иванович взглянул на нее внимательно, ему вдруг стало не по себе. Вспомнил подарок, оставленный в «зоне». «Я не могу взять, — говорила его Лисичка. — Не могу взять». Он вглядывался в черты лица стоявшей перед ним женщины, следил за движением говорящих, почти шепчущих губ, пытался заглянуть в глаза, но она прятала их от настойчивого взгляда. «Бред», — оборвал себя Матвей Иванович.

— Мне нужно идти, — сказал он сухо и, не дожидаясь ответа, развернулся.

— Бедные люди капризны, это уж так от природы устроено, — доктор доливал остатки коньяка в бокал, тряся бутылкой и дожидаясь последней капли: — О! Загадай желание!

Помощница покачала головой и села на свое рабочее место.

— Вы так не дольше меня продержитесь здесь... — сказала она тихо.

— Ну что я ему скажу еще, кроме всех этих банальностей, — продолжал врач, не слушая. — Увлечься — значи, выйти в реальность, а не спрятаться, наоборот, еще глубже. Что же делать, если он способен увлечься только собой? Перед нами типичный пример эгоиста. А это не лечится в принципе. Нет, ну существовали бы таблетки от эгоизма, я бы выписал ему — всю пачку, чтоб никому больше не досталось...

— Вам тоже нужно отдохнуть, — сказала помощница.

— А, — отмахнулся он, — брось! — Пригубил коньяку из бокала, но почувствовал, что не идет, и поставил на стол. — Он так и думает, что это все ему снится. Что я ненастоящий. А собаки, елки-палки, настоящие. Псы эти ночные!

Помощница крепко задумалась.

— Вы в том районе бывали когда-нибудь?

— Нет, — покачал головой врач. — Не доводилось.

— Там еще в конце восьмидесятых стройка началась. Тогда, знаете, кварталы продумывались полностью, планы утверждались и новые районы наносились даже на карты... пунктиром. А начать могли строить с другого конца. Ну, допустим, улица заканчивается двадцатым домом, да? — Врач кивал, отчего его начинало еще сильнее тошнить. — А достроить ее хотели до сорокового. Так вот, строить начинали не с двадцать второго, а с сорокового сразу, двигаясь как бы навстречу уже существующему району. Вот план-то, в общем, и утвердили, а достроить не успели, — помощница вздохнула. — Так и остались эти дома стоять. На веки вечные. Страна рухнула, все стало частным, а эти стройки, проекты — ничьими.

— И что же? — пожал плечами доктор. — Они так и стоят там все это время?
— Стоят, — подтвердила помощница. — Только заброшенные. Никто их достраивать не хочет. Да и кто там жить будет? Разве что действительно после смерти. Если собака какая укусит, — усмехнулась она.

— А как же квартиры? — спросил врач тоном сонного алкоголика.

— Нет никаких квартир, — улыбнулась женщина. — Есть только недостроенные здания, железобетонные каркасы. И мусор, и техника, оставшиеся от строителей. Это его «дано», так сказать, — то, куда он пришел.

— А все остальное — его сознание? — поразился врач.

— Да. Но фантазии создать целостный мир у него нет, этот мир для него слишком огромен, и в нем много лишнего. Отсюда и провалы — например, отсутствие стекол в окнах, дверей в подъезде, лифта в шахте. Работа его сознания концентрировалась вокруг некоей центральной оси — собственно, того, что нужно было для подтверждения... как бы это выразиться, правдивости его путешествия к любимой женщине... Там было только то, что ему важно, и оно было в мельчайших деталях — зеркальный шар, старая фотография, например. Ну, или в чем очень нуждался — чай, которого он так хотел, когда был готов умереть от холода. Все это воспроизводилось в его сознании с фантастической точностью, зато на остальное фантазия не распространялась. И в четкости декораций он в общем-то не нуждался: все эти окна, подъездные двери. Люди, которые присутствовали только потому, что вроде так должно быть. Но при этом их роль — чисто фоновая, как в компьютерной игре: они никак не влияют на события. Так же и шахта, в которую он упал, — его сознание просто работало в другом направлении. А ведь это могло стоить ему жизни.

— Работа в архиве, одиночество, неустроенность, — пробормотал врач, покачиваясь на стуле. — И литература. Самое опасное сочетание! Человек выпадает из реальности, теряется для нее. Собак вон с битами придумал, море это... Человеку даже в метро ехать скучно!

— Но если вдуматься, ведь жизнь — она скучна. Я вот бумаги целыми днями перебираю. Вы с психами всякими общаетесь. У кого она интересна? У единиц разве что.

— А мне моя жизнь нравится, — сказал врач, вновь пытаясь отхлебнуть коньяку. — Пока есть такие интересные случаи, как этот... Есть ради чего жить и работать, что называется.

— Интересные случаи у него! Да кто разгадал ваш интересный случай!

— Я! — пьяно ударил себя в грудь доктор, не заметив усмешки женщины. — Я же и разгадал! Сколько я наблюдал за ним! Вот человек! Ведь я других таких случаев не знаю. — Он попытался встать, но ничего не получилось. — Да и вообще. Я ведь есть, пока он есть.

— Ах да, мы же ему снимся, Семен Иванович! Как я могла забыть! — рассмеялась женщина.

— Именно, — задумался врач. — Всё как в настоящей литературе. Вот только... со смертью, конечно, не шутят. Я попытался однажды — по твоей, кстати, просьбе. — Он и не заметил, как перешел на «ты».

— И что? — спросила помощница.

— И вот что, — он неопределенно развел руками.

— Он ведь меня не узнал даже, — вздохнула женщина. — Это я там... в том доме, молодая и красивая. Он меня другой-то и не знает.

Она нервно закусил губу и посмотрела на врача так пристально, что ему, даже пьяному, стало не по себе.

— А что было делать? — продолжила она. — Родители тогда сказали: нет и все. Отец прибить его хотел после того случая в Крыму. Да и вообще после всей той поездки. Господи, какая же я глупая была! Да дура, слов нет, ей-богу! Кого ты себе нашла? — говорили они. Дурной, молодой. А что я могла придумать? Такой вот он был, — она махнула рукой. — А мне всего-то хотелось — быть первой, главной, единственной.

— Так оно, собственно, и получилось, — сказал врач.

— Кто ж знал, что с человеком такое станется, — усмехнулась женщина. — Любовь всей жизни! А он даже не понял! Даже не узнал меня! Как он там написал: «Ее функция сводится к тому, чтобы сидеть!»! Мне же написал, ну это ж надо!

Врач наконец собрался с силами и опрокинул в себя коньяк.

— «Пьяный врач», вот уж действительно — как в песне! — нервно рассмеялась она.

— Ага... — закивал врач. — Слушай, а мы ведь с тобой тоже неплохо... — он глупо засмеялся, и помощница поняла: говорить больше, наверное, не о чем. Да и незачем. Она встала из-за стола и начала собираться. — Ты та еще лиса, — прохрипел он.

— И зачем я поступила в этот долбаный медицинский? — в сердцах сказала женщина, не обращая внимания на его слова. — Разве ж я так себе представляла? Родители, думала... А что родители? Они в девяностые сами едва концы с концами сводили. Вот так все и разрушилось.

— Слушай, — врач прервал ее, вспомнив что-то, как ему в тот момент показалось, очень важное. — Ну а та программа новостей? Сюжет по телевизору? Что это было?

— А что? — переспросила женщина, надевая пальто. — Такое ведь действительно есть, сплошь и рядом. Вы что, мне не верите? Жизнь вообще другая, чем эти... — она призадумалась, — литературные... придумывают. Вот меня, например, взять.

— Ну, чтоб далеко не ходить, — вставил врач. Сам он к этому моменту четко понял: не то что куда-то ходить, но даже и элементарно встать в этот вечер уже не сможет. Оставалось только не упасть лицом на стол прежде, чем она уйдет. Еще чуть-чуть, несколько минут продержаться.

— Уволили меня, и что? — продолжала женщина. — Чем я в городах, где нет метро, заниматься стану? Я ведь коренная... А... хоть руки на себя накладывай. А тут такое... нет, ты подумай! — воскликнула она, распаяясь и не глядя на врача, словно давно уже разговаривала не с ним, а сама с собой. — Какие-то там ночные псы, у собак... офисы. ЧОП «Ночные псы», — нет, ты подумай, это вообще лечится? Ну какая дурь! И я еще с ними... иду договариваться. В офис! К собакам!! Ну, не беда, — ее голос становился спокойней и тише. — Сегодня вообще день отрезвления. Хотя не для всех, конечно, — она с сожалением посмотрела на коллегу. — Но дежурство в праздник — оно и есть дежурство. А Матвей-то теперь, может, и отрезвится. Задумается. Нет, я верю, что все у него будет хорошо. Собачку вот завел. Для одинокого человека — хорошо, — она вновь закусила губу. — Ну ладно. Не скучайте.

— Куда уж скучать мне, — ответил врач, из последних сил борясь со сном. — С такой работой не...

— Работой, — передразнила женщина. — Пить целый день — хороша работа.

— С тех пор как собаки тебя загрызли, — вяло прошептал врач и ударил себя кулаком по груди. — Никак не найду себе места... Никак. Глаза закрою — сразу ты перед глазами. И хочется бежать куда глаза глядят.

Женщина презрительно посмотрела на него и направилась к двери. Хлопнула дверь, отдаваясь тысячей болезненных ударов в каждой клеточке его тела, и врач застонал.

— И серенько, и темненько, и все те же столы и бумаги, да и я тот же, — бормотал он перед тем, как удариться лбом о стол. Перед глазамиплыли круги — как будто от камня, пробившего водную поверхность и отправившегося покоиться на дне морском, к себе подобным, — только разноцветные, пульсирующие, словно наэлектризованные, праздничные, новогодние круги. И слышались шаги в коридоре — цокающие по железобетонному полу аккуратные женские каблучки.

Шаги становились все тише, и кто-то из ночных охранников-чоповцев, перед тем как растянуться на диване в своей каморке перед маленьким экраном,

вырубил в коридоре свет. Сначала погасли длинные лампы возле ее — теперь уже бывшего — кабинета, следующие выключились над головой, и наконец исчез свет в конце коридора — там, куда она шла, в сторону лестницы, перед одинокой дорогой домой, поиском ключей в сумочке возле подъезда, чаем у окна, холодным большим одеялом и неизвестностью. Там, дома, так же погаснет свет, только впереди уже не будет лестницы, а будет следующий день, второе января, он настанет неотвратно. Потому что Земля вертится, потому что Земля сильнее всего на свете. Каблучки застучали по ступенькам, и нервные губы, глотая теплые слезы, запели — нет, зашептали, как прощание с любимым, как колыбельную, как молитву, как последний диагноз и единственный рецепт. Она шла, она пела.

Знал бы ты, как ночи напролет,
Летом и зимой, без сна,
Здесь тебя со мною вместе ждет
Ти-ши-на.